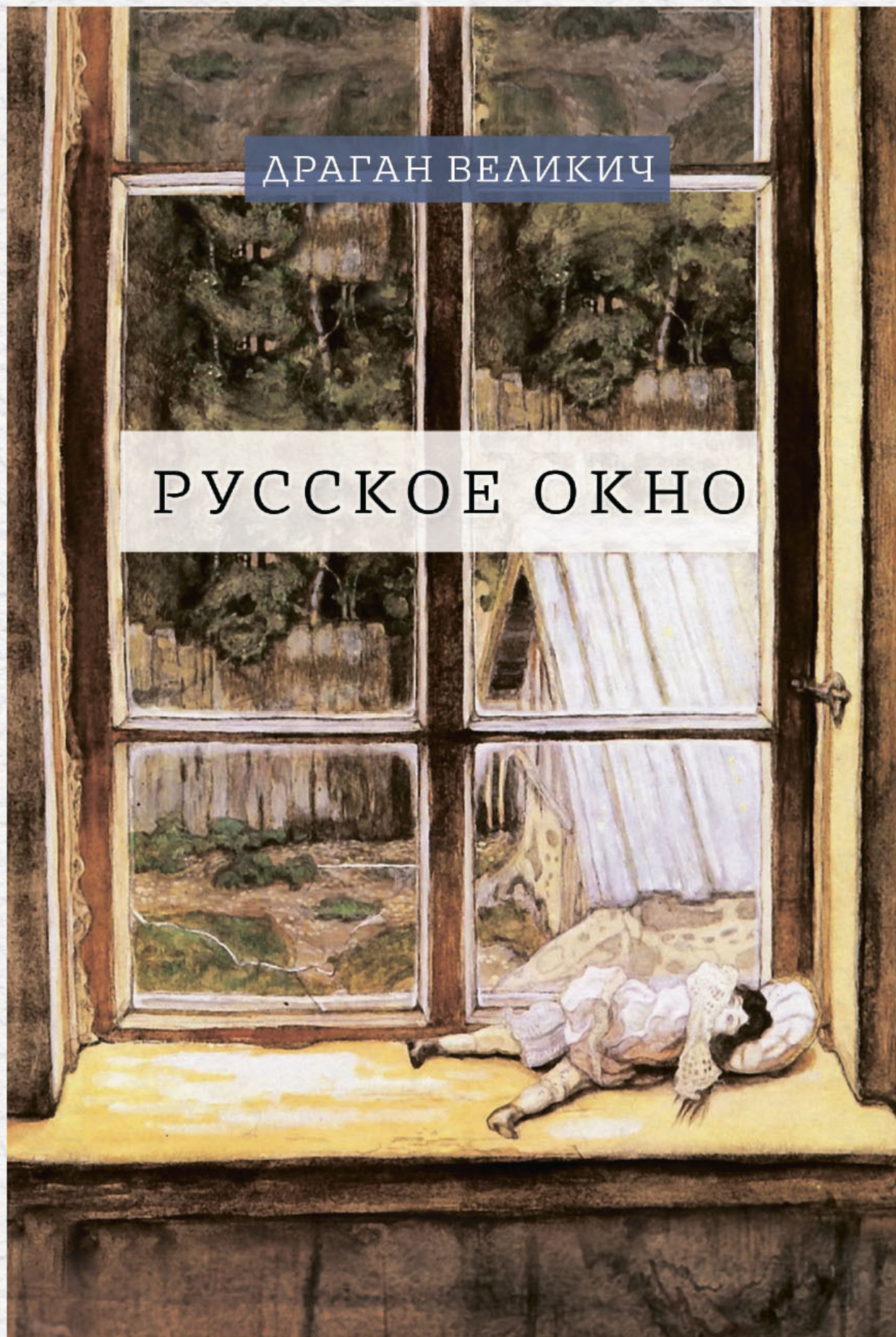


КНИЖНАЯ СЕРИЯ **СЕРБИКА**

ДРАГАН ВЕЛИКИЧ

РУССКОЕ ОКНО



СКИФИЯ

Сербика

Драган Великич

Русское окно

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2014

УДК 821.163.41
ББК 84(4Сер)

Великич Д.

Русское окно / Д. Великич — Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2014 — (Сербика)

ISBN 978-5-00025-148-5

Остросюжетный «роман-омнибус» одного из ведущих писателей современной Сербии, сделанный в лучших традициях классической литературы. Страна распадается, одна за другой от бывшей Югославии отходят союзные республики, начинается жесткое сведение счетов, разгорается гражданская война, усугубленная бомбежками сил НАТО. Герой романа, убегая от нарастающей трагедии национального раскола и войны, пытается найти себя в соседней Венгрии...

УДК 821.163.41

ББК 84(4Сер)

ISBN 978-5-00025-148-5

© Великич Д., 2014
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2014

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| От переводчика | 7 |
| Русское окно | 9 |
| Записки из жизни провинциала | 9 |
| Поезда | 43 |
| Жить незаметно | 43 |
| Алиса | 45 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Драган Великич Русское окно



Сербика

Dragan Velikić
RUSKI PROZOR

ROMAN-OMNIBUS

Beograd
LAGUNA
2014

Перевод книги сделан при помощи Министерства культуры и информации Республики
Сербия



Република Србија
Министарство културе и информисања

При разработке обложки использован фрагмент картины М. Добужинского «Кукла» (1905 г.).



© Великич Д., 2014

© Соколов В., перевод, 2018

© Издательство «Скифия», 2018

© Издательско-Торговый Дом «Скифия», оформление, 2018

От переводчика

Русское окошко... Меня как переводчика мучило это название: это ведь просто, как говорится и как видно из повествования, просто форточка! Отверстие в большом окне, которое при желании всегда можно прикрыть! Для нас, русских людей, дело привычное – проветрить комнату, чтобы не задыхаться от жары, и так далее. Но здесь, в романе Великича, это не совсем понятное для европейского и балканского читателя «русское окно», или просто «форточка», приобретает особый смысл. Оно, это окно, позволяет взглянуть из несущегося в будущую жизнь поезда (или, если хотите, из любого «средства передвижения в грядущее время») на пройденный путь и найти – возможно, я на этом не настаиваю! – точку опоры, оттолкнувшись от которой можно отправиться в какой-то иной, отличный от нашего мир – или в прошлое – как вам заблагорассудится. И мне, человеку несколько знакомому с современной живописью, видится Марк Шагал, та возникшая на его глазах Россия, которая сумела принять в себя представителей разных народов, но не смогла обеспечить им такое будущее, о котором они мечтали и на которое надеялись. Но вернемся к книге.

Страна распадается: одна за другой от бывшей Югославии отходят союзные республики, начинается жесткое сведение счетов, разгорается гражданская война, усугубленная бесчеловечными бомбежками сил НАТО. Герой романа, убегая от нарастающей трагедии национального раскола и войны, пытается найти себя в соседней Венгрии (его родная Воеводина некогда была составной частью Австро-Венгерской империи), но и там он сталкивается не просто с любовью к милой девушке, а с отголосками конфликта конца сороковых, который не на одно десятилетие разъединил братские славянские народы. Отыскивая в Германии следы художника, некогда посвятившего себя России, он встречается с мертвыми телами, которые – в буквальном смысле – перегораживают ему путь туда, куда ведет его воображаемый поезд с «русскими окошками» – форточками, сквозь которые видно не только прошлое, но и – возможно! – будущее. Но это не данс макабр, танец мертвецов, а попытка вырваться из окружающего мира в мир настоящий, обрести себя вне этого вымышленного, театрального, надуманного мира. И силы ему дает только возвращение на Родину – именно так, с большой буквы.

Драган Великич, на глазах которого родная страна проделала путь от расцвета к распаду (он родился в 1953 году) и последовавшему созданию Сербии (опять-таки многонациональной!), прекрасно знает среду, в которой пребывает его герой: несколько лет, с 2005 по 2009 год, он служил в Вене послом своей страны, которая за это время успела побывать союзом Сербии и Черногории, а потом стала просто Сербией. (Отметим в скобках, что в XX веке Югославию в посольствах нередко представляли поэты и писатели, достаточно вспомнить нобелевского лауреата Иво Андрича, прекрасного поэта Йована Дучича, талантливейшего писателя Милоша Црнянского, да и ныне здравствующую Виду Огенович...) Но не пребывание героя «Русского окна» в чуждых странах дает ему возможность увидеть мир таким, какой он есть, а именно взгляд в «русское окно» – в ту самую форточку, которая дает возможность вырваться из окружающей его суеты сует и увидеть наконец цель, к которой надо стремиться. Мятущийся герой его «Русского окна» старается найти себя на Западе – и не может это сделать. Ни любовные привязанности, ни обещания безбедного существования не могут оторвать его от родины, и он решает вернуться в свою родную Воеводину, к которой прирос сердцем...

Кстати, Драган Великич – единственный современный сербский писатель, который дважды удостоился самой престижной литературной премии – журнала «НИН» («Еженедельной информационной газеты»), присуждаемой лучшей книге года. «Русское окно» отмечено также еще двумя престижными наградами: сербской премией имени выдающегося писателя Мешы Селимовича и Центральноевропейской литературной премией. Он признанный автор, один из ведущих писателей современной Сербии. Таков путь становления героя «романа-омнибуса» –

жанра, несколько странного по форме, названного так по той причине, что в одном тексте автор рассказал истории двух человек, судьбы которых, казалось бы случайно, пересеклись на жизненном пути. Однако этот непривычный для русского читателя жанр есть не что иное, как роман в лучших традициях классической, я бы даже сказал русской, литературы: не случайно автор дважды в тексте отсылает читателя к великому Антону Павловичу Чехову, явно обозначившему тему этого романа – поиски самого себя и душевного покоя в мятущемся мире – в, казалось бы, легкомысленной юмористической сценке под названием «О вреде табака». У больших писателей случайностей не бывает...

Будем надеяться, что вскоре нам представится возможность подробнее познакомиться с творчеством Великича: его новый роман «Расследователь» также отмечен премией журнала «НИН» и еще четырьмя престижными национальными премиями. Он заслужил это!

Василий Соколов,

переводчик, литературный редактор серии «Сербика»

Русское окно Роман-омнибус

Сана

Записки из жизни провинциала

Я болен. Несомненно. Я, виртуоз движения, я, который с расстояния в полметра безошибочно попадал ключом в замочную скважину, который на кассе самообслуживания одной рукой доставал бумажник, а другой укладывал покупки в сумку, теперь только с пятой попытки открываю входные двери. И ремень не могу продеть в петли на брюках, не перепутав их. Вещи валяются из моих рук. Захочу взять что-нибудь, и в следующее мгновение забываю, что именно. Нитку даже не пытаюсь вдеть в иголку. Тапочки вообще не снимаю, только когда приходится выходить. Но и в этом случае обуваю только мокасины, потому что шнурки не слушаются меня. Схожу с ума. Все происходит ужасно медленно. Не могу сосредоточиться ни на чем более чем на несколько минут. Уже половина двенадцатого. Утром я что-то читал, десять страниц. Еще столько же пролистал. Губит меня этот пересчет. Почему это я должен все учитывать, архивировать? Сегодня у меня нет никаких обязательств, могу и после обеда почитать. Сначала надо хоть как-то успокоиться. Послушать Рахманинова? Как время летит! С радостью бы его порезал на кусочки.

Раз и навсегда сказать всему – хватит? Знаю, Руди, это смешно. Но что тут поделаешь, клавиши меня не слушаются, будто не пальцами играю, а копытами. Руки трясутся, даже когда дирижирую. Абсолютно все нервирует меня. Хоть бы один раз, хоть бы разочек расслабиться на пару часов. Я – выработанный рудник. Все разлагается. Все. Не могу продвинуться во времени ни на секунду, чтобы не объявились какие-нибудь обязательства: зубная боль, ненаписанные письма, нестиранное белье, неглаженные рубашки, неоплаченные счета, невычитанные партитуры. Дергается правый глаз. Я обозлюсь. Конечно же, обозлюсь, если наперед знаю, что буду злиться. Иной раз бывало и похуже. Утром в магазин. Сумка полна ненужных вещей. Разве наперед узнаешь, что тебе надо? Вообще, это дело с предугадыванием сплошная мука. Моя мама всю энергию тратила на то, чтобы угадать. Но все-таки так и не сумела ничего такого предусмотреть. Однако даже попытка сделать это – хороший самоконтроль. Зачем я сейчас закурил? Мой отец вовсе не старался хоть что-то предвидеть. Так что мама старалась за двоих. Это уже пятая сигарета, а всего лишь полдень. Покупки, вынос мусора, мытье машины, установка телевизионной антенны, визиты к мастеру. Все это меня достало. Какое счастье, что человек не бессмертен. Если не это, я бы наложил на себя руки. Вы мне не верите, Руди? Все меня, говорю, сводит с ума: мир и покой западной цивилизации, восточная леность. Может, отправиться на рыбалку? А как привязать леску? Руки у меня дрожат. Я это триумф всех безумий. Я – единственно Он. Уничтожить Его бесповоротно. Для начала поразбивать непослушные вещи, переломать зонтики – их в первую очередь, этих притворных защитников. Отказаться от всего, и тогда, одним-единственным движением, выстрелом в голову, вынести приговор.

Когда я поднимаю палочку, музыканты заканчивают настраивать инструменты. В это мгновение все взгляды обращаются ко мне. Под мышкой проскальзывает капелька пота, а легкое движение поднятой руки вызывает к жизни множество тонов. И тогда вместо оркестра я слышу свисток паровоза. Моя рука продолжает движение руки моего деда, начальника станции

Сичево. Пока он неподвижно стоит на перроне, провожая последний вагон в сторону Ниша или Пирота, его лицо в сотнях вариантов отражается в головах усталых пассажиров. Неважно, был ли то «рабочий в три», или «Симплонский экспресс» на линии Париж – Стамбул, или пассажирский на Димитровград.

И «Симплонский» однажды остановил дед на станции Сичево, чтобы мать со мной и с сестрой поднялись в вагон, на котором была табличка «София – Белград». Минуту спустя зеленый сигнал выпустил поезд в сторону Ниша. Кто-то посмотрел в окно, проснувшись из-за того, что поезд остановился в ночи. Он увидел маленькое, приземистое здание вокзала, едва успел прочитать название города на табличке, написанное кириллицей и латиницей, и то только потому, что находился в одном из вагонов в центре состава. Он увидел начальника станции и трех пассажиров: женщину и двоих детей. Эти тона, отсутствующие в партитуре, появились на мгновение в пространстве свободного такта, оказавшись в поле зрения сонных пассажиров по мановению красного сигнала семафора, чтобы сразу после этого исчезнуть из нотной системы международной железнодорожной линии.

Годы спустя, когда мне регулярно приходилось ездить ночами и просыпаться при остановке поезда, я наслаждался движением руки, отодвигающей оконную занавеску. В спальнях вагонов мое место всегда было в наилучшем положении относительно окна. С него были прекрасно видны пассажиры, спешащие на посадку. Пока поезд стоит на красный свет, решаю ребус провинциальной площади: светящиеся окна на фасадах зданий, уличный фонарь, качающийся на ветру, и реклама сигарет с ментолом, призрачно освещенная импульсами оранжевого света отключенного светофора. Три источника света вызывают волнение. И оно начинается вместе с голый женской ногой, выглядывающей с верхней полки из-под одеяла. Ночью в мое купе туристического класса проводник впустил какую-то женщину. Она тяжело дышала, ворочалась во сне. Прислушиваясь к ее дыханию, я опять заснул. Когда на рассвете открыл глаза, полка была пуста и аккуратно застелена, как будто никто даже не присаживался на ее краешек и не касался ладонью подушки. Единственным решением этой загадки могло быть то, что женщина, которая провела ночь в моем купе, была кадром, вырезанным из сна.

«Нехорошо, когда разный свет смешивается, – говорила мама. – Я знала женщину, которая жила в темной квартире над баром “Лотос”. Это было сразу после войны. У нее даже днем горел свет. В итоге она почти ослепла. Но даже с таким зрением она поддерживала в квартире идеальный порядок. Если уж ты днем зажигаешь лампу, будь добр задернуть шторы, чтобы дневной свет не смешивался с электрическим».

Я и сейчас задергиваю шторы, когда вызываю маму.

Только в полной темноте царит образцовый порядок. Под закрытыми веками смешиваются множество источников света. Щелки не позволяют залить все пространство монолитным цветом, который, по крайней мере, хоть на мгновение создал иллюзию чистой темноты, в ней каждая вещь оказалась бы на своем месте и каждая фраза стала бы кратчайшим путем, ведущим к цели.

Тем не менее я зажмуриваюсь. Пытаюсь избавиться от щелок. Если сосредоточиться как следует, все получится.

Во мраке я здоров.

Проблемы возникают при свете. Не только потому, что смешивается свет из разных источников, но даже отсвет погасших лампочек вносит непорядок. Цвета я различаю только в темноте. Синий распространяет свежесть, в ноздрях ощущаю запах йода. Может быть, потому, что вырос на море? Желтый пьянит как ладан. Красный согревает, но его тепло настолько неприятно, что вызывает аритмию. Зеленый успокаивает. Серый наполняет меня вожделием. Кто это ожидает от меня нейтральности? Глубокие декольте во мраке кажутся еще глубже.

Дирижируя, я всегда закрываю глаза, время от времени открывая их, чтобы убедиться, что все остается на своих местах. Нет того глубокого сна, в который можно войти, когда округлые звуки гобоя разливаются в спирали моего уха. Память продиктована ужасающей бухгалтерией. Одну и ту же партитуру я каждый раз читаю иначе.

Неужели это из-за света?

И как вам нравится это имя? Руди? Без координат. Все равно что сказать: кухня, велосипед, табакерка. Существуют имена без координат. Например, Филипп, Анна, Фабиан, Оливер, Мартин, Ева, Константин. Все это один и тот же свет, источник которого невозможно установить.

Меня беспокоят возможности. Я все время должен принимать какое-то решение. Положить в кофе одну или половинку ложечки сахара? Просто перелистать или прочитать всю газету? Снять ли трубку после телефонного звонка? Открыть ли окно? Жизнь проходит, а я никак не могу решиться. И в результате ничего не успеваю сделать. Только мысленно касаюсь возможностей. Мир переполнен возможностями. Мой идеал – всегда быть неподвижным. В любой момент быть всюду на престоле инвалидной коляски. Переживать одновременно все возможности в окружении бедкеров, каталогов, проспектов, расписаний движения, меню. Не раз, прибыв в какой-нибудь город, я часами отыскивал подходящий отель. И когда наконец снимал номер и распаковывал багаж, приходилось сталкиваться с дилеммой: в каком ресторане поужинать. Ничто меня так не беспокоило, как вероятность того, что кто-то еще будет сидеть за моим столом, хотя я впервые входил в этот ресторан. И не просто сидит за моим столом, но и лишает меня мысли, которая могла возникнуть за этим столом.

И именно эта мысль направляла меня в другую сторону. Несомненно, тот, кто сидит за моим столом, отнял у меня и стол, и мысль, и направление. Отнял у меня жизнь. Совсем другую жизнь, которая, конечно же, лучше той, которой живу. Тем не менее я контролирую и эти пропущенные жизни. Это нелегко, это постоянно тревожит случайную жизнь, но мне как-то удается не растеряться, поддерживая контакт с пропущенными жизнями. Я чувствую, как они струятся рядом со мной. Как параллельные железнодорожные пути, они удаляются, чтобы неожиданно сблизиться. За моим столом, в пустом трактире. Поэтому так важно сидеть за своим столом. Что можно осуществить только в пустом трактире. Спокойно выбрать место не слишком близко к дверям, но и не у окна, от которого зимой веет холодом, а летом – жарой. Однако потом наступают муки с меню. Блюда, которые нравятся мне, чередуются с нелюбимыми. Придумываю тактику обольщения официанта, с тем чтобы он объединил в одном заказе все, что я люблю, исключив то, что мне не нравится. Может быть, настоящая идентичность разлита в безразмерном пространстве пропущенного?

Всего слишком много. Это всемирная проблема. И потому существует только единственно возможный конец. Мир как склад. Потому что в нем так много всего, что невозможно более ни слушать, ни смотреть, ни читать. Если я не могу все, то не буду ничего. Рассказ о мире больше самого мира.

Моя первая жена, Юлия, всегда спрашивала, что со мной делали в детстве, отчего я стал таким. А у меня детство было счастливое, и вообще не считаю, что мои проблемы возникли тогда. Ничего подобного не было. Я родился взрослым. И не может она мне ничего сказать, та, которая за восемь лет брака ни разу не сменила набойки на каблуках, ни разу не пришила оторванную пуговицу, ни разу не заштопала дыру на чулках. Как будто за вещами не нужен догляд и уход. «Ты ходишь к дантисту, когда у тебя болят зубы? – спрашивал я ее. – «Пьешь воду, когда тебя одолевает жажда?» И почему это моя привычка не оставлять на ночь на столе немытую посуду была отклонением от нормы, возникшим в детстве? А ведь я ничего такого не усваивал. Ведь я не раз укладывался в постель, несмотря на неубранный после ужина стол. Случалось при этом и засыпать, но я регулярно просыпался ночью, тихо прибирался и мыл

посуду. И это приводило Юлию в бешенство. Как и меня выводила из себя ее привычка завтракать в постели. Как и то, что, едва опустив тарелку и чашку на пол, она обнимала меня. А в постели полно крошек и пятен от пролитого кофе.

Моя вторая жена была аккуратнее даже моей мамы. Ее звали Елизавета. Пришивала пуговицы, едва на них ослабевали нитки, контролировала каблуки на обуви. Никогда не позволяла ей изнашиваться. В кухонном шкафу все баночки с приправами были полны. Она могла приготовить любое блюдо. Чемоданы и сумки, укрытые полотном, с ключами и замочками, аккуратно сложенными во внутренних отделениях, были готовы к путешествию. Она все успевала предугадать, подстраховаться от любой неприятности. Она была настолько идеальной, что даже мусор выбрасывала заранее. Бутылка вина еще не была открыта, а я видел, как ее взгляд, милый и несколько прохладный, уже провожает эту бутылку в контейнер для стеклянного боя. В нашей связи не было места следам. Она перехватывала мое дыхание, желтый круг на наволочке после ночи, и она меняла постель. Полотенца всегда были идеально чисты. Она была настолько аккуратной, целиком посвятившей себя незыблемому порядку, что я очень быстро перенял привычки своей первой жены. Однажды я съел в кровати бутерброд. Ее пальцы на ногах были абсолютно пропорциональны, ногти правильны. Даже на мизинце форма ногтя была классически прекрасна. Знаете, Руди, на мизинцах ноги часто вместо ногтя бывает просто точка, какое-то утолщение, и это мешает. А тот непослушный второй палец, какой бы стопа ни была, должен быть хотя бы на миллиметр короче большого пальца. Меня очень возбуждает, когда летом вижу женскую ступню в сандалии, когда этот второй палец, непослушно большой, с развитым суставом, выросший за счет усохшего мизинца, перекрывает размером большой. Это говорит о скрытой агрессии хозяйки.

Елизавета говорила, что смерть не страшна, потому что после ее наступления уже не надо заботиться ни о чем, теперь другие должны заниматься формальностями, без которых не бывает окончательного упокоения. Несмотря на то что нам еще не было сорока, она решила купить участок на кладбище, чтобы на всякий случай застраховаться от жизни. Для нее жизнь была невыносима из-за сюрпризов, которые ожидают нас на каждом углу. Она полностью погрузилась в страсть инвентаризации и в мыслях, наверное, пересчитала даже венки на своих похоронах. Учитывала все, начиная со случайных взглядов на улице и до наших объятий. Однажды она как бы в шутку призналась, что было бы неплохо учесть удовольствие, полученное от мастурбации. Каждый употребивший ее тело, пусть даже и мысленно, должен был заплатить.

Я долго избегал визита на кладбище. Нам предложили участок рядом с моргом. Ей это не понравилось. Она хотела упокоиться подальше от главной аллеи, в каком-нибудь удаленном уголке кладбища. Я чувствовал, что ей мешал тот факт, что предложенное место было перекопано. Кто-то уже десятилетиями лежал на том месте, которое должно было стать ее.

В гостиницах она никогда не пользовалась полотенцами. Мы всегда брали в поездки свои. Утром она первым делом читала газеты. Однажды она наткнулась на сообщение о том, что рыбаки неподалеку от Мадагаскара поймали допотопную рыбу, которая, как считалось, вымерла два миллиона лет тому назад. Ее ужаснула возможность такой катастрофической ошибки, весь день она была не в духе.

– Какой диссонанс, – сказал я. – Через два миллиона лет после вымирания вида потомок бьется в сети. Какой вагнерианский ход!

– Наверное, коперникианский?

– Вагнерианский, – повторил я. – Вагнер любил животных. Он еще ребенком разучивал вместе с ними сложные игры мотивов. Коперник же любил фрукты. Вся его теория покоится на яблоке, которое упало с яблони, под которой он лежал.

– Яблоко упало на голову Ньютона.

– Какая разница. И Копернику тоже что-то упало на голову.

– И что случилось с этими животными Вагнера?

– Вагнер еще ребенком рассовывал зайцев, ежей, черепах и разных жуков по ящикам письменного стола. А в задней стенке этого стола он проделал дыры, чтобы его любимцы могли дышать...

– Не понимаю, почему он не держал птиц? Их можно было бы и не прятать.

– Птицы в любом случае были весьма шумными. И непослушными, именно потому, что обладают голосом. Ему не нужны были внешние голоса. У него они были внутри.

– Даниэль, а почему же тогда он не использовал рыб? Они ведь немые. Они могли бы спеть все, что он замыслил.

Я чувствовал, что ей вообще безразличны и птицы, и рыбы. Больше всего ее волновал тот факт, что Вагнер продырявил стол.

На следующий день мы купили участок на окраине кладбища, засаженной молоденькими деревцами.

– К нашему появлению они подрастут!

Она погибла два месяца спустя, на пешеходном переходе, уверенная в том, что зеленый сигнал светофора и фигурка шагающего пешехода обеспечивают ее безопасность.

* * *

Я знаю, Руди, что разбрасываюсь, но бессмысленно вносить какой-то порядок, придерживаясь концепции. Любая селекция – грех. Только сейчас, приговоренный к престолу этой коляски, я чувствую пульс мира, всю роскошь, которую предоставляют нам шпионские мысли. Я двигаюсь во всех направлениях. Мне доступно все. Не знаю, почему, но я моту утверждать это и без доказательств.

Утверждать без доказательств? Думаю, так будет вернее всего. Моя мама всегда говорила, что из меня что-то получится, хотя у нее не было ни одного доказательства моей исключительности. В школе я ничем не выделялся. Все у меня шло примерно одинаково. Но не более того. Мама, тем не менее, твердила, что я стану знаменитым. Часами я лежал на кровати и распоряжался своей славой. Позже, в гимназии, я несколько сдал с учебой, но поскольку моя известность была только вопросом времени, я не старался доказывать то, что в скором времени станет очевидным. Каждое утро, направляясь из дома в школу, я прощался со знакомыми улицами, с фасадами, витринами, людьми, которых встречал на тротуарах. Боже, говорил я себе, они даже не догадываются, мимо кого проходят. Живут в этом идиллическом городе на море, в городе, прошлое которого измеряется тысячелетиями, в городе, где жили Цезарь, Данте, Микеланджело, Казанова. В городе, в котором жил и я. Я жалел сограждан, пропускающих единственную возможность познакомиться со мной, немного поговорить или хотя бы угостить меня мороженым. А ведь однажды они не поверят собственным глазам, когда прочитают в газетах, что я столько лет жил среди них.

Мои преподаватели в гимназии не осознавали, что от меня зависит, будет ли их некоторое время помнить история, упомяну ли я их в своих мемуарах. Когда я был учителем музыки в средней школе, то выбирал самых слабых учеников, на которых не обращали внимания мои коллеги, и награждал их высокими оценками. Я чувствовал, что и среди них есть те, которым уже зарезервировано имя в том поезде, и что однажды они в своих мемуарах вспомнят и меня. А я все еще прозябал на забытой станции из-за какой-то ошибки в расписании, не теряя надежды, что вскоре отправлюсь с запасного пути по рельсам международной линии. Уже не стало дедушки, который смог бы остановить «Восточный экспресс». Тем не менее я верил, что меня ждут далекие пути. Я так мечтал, что иной раз не слышал, как преподаватель называет мое имя. И пока весь класс покатывался со смеху, а преподаватель выставлял плохую оценку,

я с отсутствующим видом глядел на эту толпу, которой только предстоит бороться с тем, что принесет им будущее, в то время как у меня уже было зарезервировано место в вагоне для избранных.

Сигналы открывали далекие пути, по которым катили дрезины, вагонетки, поезда. На платформах забытых станций стоят их начальники, в залах ожидания дремлют пассажиры. Лунный свет освещает очертания стрелок. Одной из них предназначено окончательно направить меня к давно сформированному поезду, который и есть моя истинная жизнь. Эту жизнь я вижу как идеальную партитуру, на которой не только обозначены ноты и паузы, но и отмечена каждая складка, каждый шум, каждый запах. В этой партитуре записан каждый зевок тимпаниста, движение губ молодой флейтистки, внезапная мысль, пронесшаяся в голове фаготиста, выдувающего последнюю строку нот блистательного крещендо. В этой партитуре я вижу и то, что не видит никто. Мир – это бескрайний аквариум. А я, как та мадагаскарская рыба, выживший каким-то чудом, свидетельствую о вымерших животных. Никто, кроме моей мамы, не распознал во мне исключительный дух, все требовали каких-то доказательств, невнятных внешних проявлений. Как будто нет невидимых жизней. И разве Вагнер не оставался бы Вагнером, если бы сочинял только для зайцев, ежей, черепах и жуков? Или если бы по дороге в Тоскану не встретил бы Чимабуэ и увидел маленького Джотто, рисующего на песке? Джотто рисовал бы, даже если бы ему до конца жизни пришлось пасти овец. Веками яблоко Ньютона падало мимо его головы. И все-таки оно оставалось Ньютоновым.

Ребенком я не боялся уколов, темноты, глубокой воды. Не боялся зубных врачей, парикмахеров, незнакомых людей. Необъяснимый страх вызывала только Нерина, прислуга, приходившая каждую вторую субботу, когда мама предпринимала капитальную уборку квартиры. Накануне ее прихода мне становилось тоскливо, потому что мама меняла привычное расположение вещей в доме. На террасе приготавливались метлы, ведра, тряпки. Со столешницы обеденного стола свисали кожаными спинками вниз стулья. Поскольку мы с сестрой не участвовали в большой уборке, время до полудня проводили в кинотеатре, а после обеда уходили играть во двор, но все-таки осознание того, что в квартире переставляют вещи, становилось причиной моего беспокойства. И только вечером, еще с порога вдохнув запах мастики, я начинал отходить. Выстиранные, еще влажные шторы источали свежесть, мебель сверкала, полы излучали легкость. Если я замечал, что какая-то лампа, ваза или статуэтка сдвинута, то заботливо возвращал этот предмет на то место, где он обычно стоял. Мир опять был на своем месте.

Нерина снимала угол у маминой закройщицы Рики. Там мама с ней и познакомилась. Жених Нерины сбежал в Италию. И в той квартире существовал какой-то порядок, который Нерина не только уважала, но и поддерживала. У тети Рики была дочь моих лет. Ее звали Дина. Уходя на примерки, мама брала с собой и нас с сестрой. Мы играли с Диной. Мама сказала, что муж тети Рики сбежал в Италию, когда Дина была грудным ребенком. И ничего не давал о себе знать. Я думал, почему тот, кто решил сбежать, должен подавать о себе весточку? «Сбежать в Италию» было каким-то решением, все равно что сбежать из школы из-за плохих оценок или от нелюбимой жены.

Мои первые сексуальные фантазии пробудила Нерина. Играя во дворе, я подстерегал момент ее появления в окне. Она выбиралась на жестяной подоконник, и там, держась левой рукой за оконную раму, правой протирала стекла с внешней стороны. Под платьем из тонкого полотна выглядывали бедра и белое пятно нижнего белья, которое иногда во время ее движений увеличивалось. Я смотрел на нее, спрятавшись в кустах самшита. Однажды летом в парке у гребного клуба я увидел Нерину в объятиях какого-то моряка. Они сидели на скамье и целовались.левой ладонью, той самой, которой держалась за раму, она ерошила щетинистые волосы любовника, а правая утонула в его широких белых брюках.

Я помню звук, производимый комком газет, соприкасающимся с влажным стеклом окна. Этот скрип и сегодня вызывает у меня мурашки. Я переждал эту звуковую непогоду, прячась в дальнем углу двора. Пока не успокоятся призраки, не смеющие спрятаться даже в газетных столбцах. Какофонию творили скомканные истории, рассказывающие об обрушении пространства, о голосах людей. Все, о чем говорилось в колонках, теперь собралось в один комок. Вопят одиночки, посылающие свои призывы в бутылках газетных объявлений. Я не жалею их, у меня нет сочувствия к типам, которые стараются избежать той полноты, которую дает только одиночество. Все они притворяются, это всегда какие-то чистюли, которые не пьют, не курят, ищут не приключений, а только серьезные связи. Есть ли хоть что-то менее серьезное, чем с помощью призыва в бутылке отыскать серьезную связь? И эти женщины. Ни в какую не желают алкоголиков или авантюристов. Недавно я прочитал в серьезном американском журнале на странице объявлений текст высокого голубоглазого парня, только что разменявшего шестой десяток. Поверьте, Руди, он отчаянно врал, он давно уже растратил этот свой шестой десяток. Какая бесстыдная ложь, он желает познакомиться с молодой женщиной, чтобы путешествовать, учиться, исследовать мир вместе с ней. Он предпочитает Париж, Китай, Ван Гога, театр, Бетховена, волонтерскую работу в международных организациях, юмор. Какое меню! Таких мне совсем не жалко, когда их вопли исчезают в смятых газетах, которыми моют окна.

Сейчас! Вы хоть когда-нибудь говорите – сейчас? И тогда что вы вкладываете в это «сейчас»? Сколько сотен самолетов взлетает за это «сейчас», сколько тысяч мужчин в это «сейчас», помочившись, стряхивают капли с члена, сколько десятков тысяч женщин выщипывают брови, сжимают накрашенные губы. Из-за этого «сейчас» я не могу заняться собой. У меня ведь тоже есть право на свое «сейчас»?

Говоришь, Руди, надо найти середину? Но в середине нет ничего. Потому и подают объявления. Если бы они хоть чего-то стоили, если бы в них хоть что-то было, то они не искали бы знакомств через объявления. И тогда тебе ничего иного не остается, как распределить очередность включения мозга в зависимости от обязательств. Вспоминаю одну симпатичную игуменью, настоятельницу монастыря, я видел ее по телевизору, когда она стыдливо призналась, что из-за множества обязательств она не может молиться, потому что посреди молитвы начинает думать о том, достаточно ли запасов угля на зиму, хватит ли денег, чтобы заплатить плотнику. Вы не знаете, Руди, что значит родиться интендантом. А Бог все видит. Видит ли? Да видит, если и я вижу. Вы, Руди, не видите. И вообще эта история с Богом сомнительна. Он все видит. Так зачем же к нему вообще обращаться?

* * *

Женщина, которая убирается у меня в квартире, готовит и заботится обо мне, явилась по объявлению. Я зову ее Нериной. Она разведена, детей нет, только что разменяла пятый десяток. Я завещаю ей свою квартиру, а пока что она удовлетворяет все мои запросы. Я не мог иначе, как только по объявлению. Десять дней передо мной дефилировали женщины. Были среди них и весьма молодые, студентки, образованные и красивые. Перед тем как уйти, оставляли номера своих телефонов. Я чувствовал себя владельцем гарема. В конце концов я определился с Нериной. Ей это имя понравилось. Вы думали об услугах инвалидам? Мобильный бордель. Это было бы прибыльнее патронажа. Белград – большой город. Сколько неподвижных сатиров страдает в квартирах!

Знаете, Руди, мне всегда была отвратительна договоренность, этот молчаливый взгляд, соглашающийся на спаривание, легкость, с которой два незнакомых человека отправляются в кровать. Какое унижение! Зажженный фитиль, молния в груди, которая скользит в низ живота и упирается в преграду, судорога в стопах и висках. Любовь воздействует иначе, она греет,

даже если она без взаимности. Я знал девушку, которая из неразделенной любви создала миф. Она была настоящим коллекционером, то есть я хочу сказать, что ничто, именно ничто не может устоять перед безумным упорством. Безумие рождает любопытство, восторженный страх. Людьюми чаще всего движут комплексы. Большинство мотиваций возникает не из благородных побуждений, напротив, из низменных. Мы даже иногда бываем временно добрыми по сомнительным причинам. Это моя сиротка явилась ко мне после концерта. На ней была поношенная каракулевая шубка, голую шею усыпали родинки. На лице – толстый слой пудры, который не мог скрыть плохую кожу. Улыбнувшись, она показала редкие передние верхние зубы. Меня растрогал ее взгляд, теплый и холодный одновременно. Было приятно, что я нравлюсь ей, и она не скрывала этого, наоборот, с первой же встречи она начала преследовать меня, утверждая, что мы – идеальная пара. Она только что закончила учебу на романской кафедре. Жила с матерью в большой квартире. Они вели себя как осиротевшие буржуйки, на каждом шагу я сталкивался со страданиями, напоминавшими о роскошных временах. Однажды во время прогулки по городу она показала мне на Крунской улице двухэтажную виллу. Когда-то она принадлежала ее деду, королевскому летчику, который наложил на себя руки из-за того, что жена отказала ему в разводе. У него много лет была любовница, с которой он хотел обвенчаться. Он застрелился прямо у нее на глазах. Был еще какой-то дядя, художник и человек богемы, парижский выученик. Возникали истории, перечислялись путешествия. Гимназисткой она была чемпионкой города по фехтованию, какое-то время играла на саксофоне, целый год провела в Японии. Записывала в тетрадку все прочитанные книги, все просмотренные фильмы и театральные представления. У нее была огромная коллекция биографий знаменитых любовников мира. Во время наших ежедневных прогулок она показывала себя необычной особой. Презирала институт семьи, мещанскую мораль. Меня очаровала ее сила, готовность жить в одиночестве, упрямо ожидая своего сказочного принца. Да, мне нравилась эта ее роль. Даже после двух, трех месяцев мне не удалось обнаружить в ее окружении близкого человека. Была у нее одна подруга, настоящая красавица. Звали ее Симонидой. Эта умная, красивая и ленивая девушка была для нее единственной публикой, а ведь, между прочим, любая секта начинается с одного человека. И я постепенно стал вторым.

И тогда, Руди, впервые заночевав в этой огромной квартире, я впервые увидел в ванной полотенца, застиранные и истертые от частого употребления, с бахромой на концах, они походили на тряпки, потому что их никогда не кипятили. Я понял, что они – метафора этого дома, символы не бедности, но неряшливости. И что пришло время бежать. Оборвать только что начавшуюся связь. Я понял, что она все выдумала, что она – жертва болезненного безумия. Почему вы так на меня смотрите? Есть и здоровое безумие. Ах нет, доброты не существует. Я не могу согласиться с вами, Руди. Есть только глупость различной тональности, которую мы воспринимаем как доброту. Нюансы, полутона, усыпляющая хроматика, потеря бдительности. Легче отказаться, чем бороться с собой и другими. Моя сиротка боролась. А я не сбежал ни той ночью, ни следующей. Остался с ней. Из жалости? Может быть. Скорее, потому что не было шансов остаться с ней. Она просто была полностью противоположна мне, Руди. Физически она мне вообще не нравилась. Кроме красивых полных ног и больших глаз в ней совсем не было ничего привлекательного. Но связи с противоположностями так и начинаются: сначала безобидно, совершенно безопасно, без шансов продолжиться. Не встречая сопротивления, они втираются к тебе в доверие, завоевывают твои мысли, и ты не понимаешь почему, она ведь не твой тип, ты прекрасно понимаешь, что она не нужна тебе, что ты не останешься с ней. И тем не менее она вытягивает из тебя все эмоции, высасывает энергию, и что страшнее всего – она знает тебя лучше всех. Ты постоянно разрываешься, не владеешь ситуацией, потому что по трезвом размышлении тебе становится понятно, что теряешь время, а она удивляет тебя, предвосхищает каждое твое намерение.

Я провел с ней четыре года. Ты спрашиваешь, Руди, как это получилось? Не знаю. Я же сказал тебе, что с самого начала было ясно, что у этой связи нет шансов на продолжение, из нее ничего не выйдет. А раз так, то тем самым от нее невозможно защититься. Ты не думаешь о такой особе как о будущей связи, и весь механизм защиты отключается. Она была такой упрямой. Я спал с ней скорее из чувства дружбы, из-за какой-то жалости, что ли. Не могу сказать, что это было плохо, напротив, но, опять-таки, Руди, страсти у меня не было, той настоящей любовной страсти, которая лишает сознания. Она знала это и потому все эти годы обвиняла меня в том, что я не люблю ее, что, собственно, было истиной. Я никогда не воспринимал ее как любовницу, она была для меня чем-то вроде сестры, подруги, верного собеседника. Мы разговаривали ночами напролет, а под утро занимались любовью. И когда она погружалась в сон, я задавался вопросом, чего я ищу в этой истории. Настало время уходить. Но я оставался, и все это продолжалось. И вот однажды вечером я зашел за ней, чтобы отвести на генеральную репетицию. Она еще не вернулась с учебы. Ее мать сварила кофе и удалилась в свою комнату. Рассматривая книги на полках, я нашел за словарями коробку из бамбука в форме книги. Открыв крышку, обнаружил с десяток писем, подписанных моим именем. Не было никакого сомнения в том, Руди, что это были мои, не только судя по имени и фамилии, но и по фактам собственной биографии. Даже даты соответствовали началу нашей связи. Несчастливая укрепляла собственную веру, сочиняя сама себе письма от моего имени. У меня отнялась речь при виде такого глубокого безумия. Весь мир приобрел форму, заданную ее болезненным воображением. Как судебный исполнитель оставляет свои бумажки на мебели, подлежащей конфискации, так и она наклеивала свои послания на окружающих ее людей.

Что это было с ней? Она не отказывалась. Кто знает, сколько раз она повторила другим жертвам все те истории, что рассказывала мне. Кто знает, сколько писем она написала сама себе. И ей повезло. Летом в Греции она познакомилась с пожилым врачом, владеющим клиникой в Нормандии. Но куда бы ее не занесло, застиранные полотенца всегда будут отражать ее сущность.

Во время пребывания дома, между рейсами, отец регулярно мыл четырехстворчатое окно в гостиной. Прежде чем смять газеты, он пробегал по заголовкам. Все они были ему в новинку. Долгое отсутствие дома вызывало множество белых пятен. Он ходил на иностранных судах дальнего плавания. А во время плаваний, которые продолжались по семь-восемь месяцев, на родине происходили события, о которых он не знал. По возвращении он сталкивался с пустотами. Перелистывая старые газеты, он неожиданно узнавал, что какая-то знаменитость скончалась два месяца тому назад, читал о наводнениях, убийствах, изменах. Пополнял собственную картотеку черной хроники.

Экраном для отца было огромное четырехстворчатое окно гостиной, которое он каждую вторую субботу протирал скомканными мокрыми газетами. Трудился он сосредоточенно, словно каждым движением рук стирает слой прошлого. Он обошел весь мир, но в моей памяти так и остался в пространстве, которое было меньше самой бедной каюты в нижней палубе. Похоже, именно здесь он подбивал итоги своей жизни. Стоя в эркере как на командном мостике нашей квартиры, откуда простирался вид на верфь, цементный завод и окраинные дома, отец входил в город. Только здесь были возможны все плавания. Я тайком наблюдал за ним из маленькой соседней комнатки, которая служила мне рабочим кабинетом. Я сидел там за письменным столом. Под его стеклом лежала карта мира. Города, которые для меня были просто точками на карте, он повидал во всей их роскоши: Тель-Авив, Хайфа, Аден, Бомбей, Джакарта, Иокогама. Гул базара перетекал в тишину квартиры, как пестрые краски одна в другую на ковре, купленном в Басре. Шерстяные нитки приглушали голоса, смягчали шаги. Случайный прохожий, появлявшийся в его поле зрения, преодолевая расстояние, ограниченное широким эркером, перемещал отца в далекие пункты назначения, корректировал его поездки,

самой короткой из которых стал судьбоносный автобусный рейс из Белграда на Фрушку-Гору. После тяжких слов, которыми он время от времени обменивался с матерью, отец, видимо, не включал в свою жизнь эту короткую поездку. Теперь я знаю, что стремление отца уйти в море было его бегством в Италию, попыткой ничего не меняя изменить все. Но не изменил ничего.

* * *

Его пребывание на материке затягивалось на три-четыре месяца, и все это время он плыл по пространству квартиры, то и дело совершая столкновения. Он не возвращал предметы на предназначенные для них места, нарушая порядок, установленный матерью, который мы с сестрой не только соблюдали, но и обогащали новыми правилами, в чем я лидировал. Отец никогда не выключал после себя свет. Корабельная привычка, где в коридорах и трюмах свет горит днем и ночью. Проживая в квартире, отец сталкивался со сложной системой сигналов. Он передвигался по ней как танкер. Без буксира он не мог войти в порт. Нас он воспринимал как портовых лоцманов, которые проводят суда с якорных стоянок к пристани. Заглядывая в кладовку рядом с кухней, где в идеальном порядке находились вещи, которыми мы редко пользовались, он терял желание взять там то, что ему понадобилось. Однако прохождение кладовки не могло сравниться с опасным плаванием по огромному подвалу, который отцу пройти было труднее, чем Панамский канал, или обогнуть мыс Доброй Надежды. Его мастерская занимала два подвальных помещения. Инструмент он держал в плоском металлическом ящике, и когда он возвращался из плавания и поднимал его крышку, то в панике замечал в нем идеальный порядок: разные ключи покоились в отделениях под номерами, гвозди и шурупы хранились в одинаковых стеклянных баночках, молоточки, клещи, отвертки были прикреплены к крышке ящика резинками. «Да ведь я же не зубной врач», – беспомощно цедил он сквозь зубы и захлопывал крышку. И только спустя семь-восемь дней, пользуясь инструментом во время ремонтных работ в квартире, ожидавших его возвращения, постепенно воссоздавал беспорядок. Очень быстро мастерская приобретала вид пространства, в котором все находится не на своем месте. После ухода отца в море она первой подвергалась наведению порядка. Большой уборкой занимались только мама и я. Мы обыскивали каждый уголок мастерской, подбирали с пола шурупы, гайки и гвозди. Затерявшиеся инструменты возвращали на место, так что в течение дня отцовская мастерская опять превращалась в кабинет дантиста.

«Ну, скажи, разве так не лучше? – спрашивала мама, после чего, не ожидая ответа, вздыхала: – Мой шкаф был образцовым в интернате, где я провела четыре года».

Ритуал продолжался открыванием большого ящика отцовского рабочего стола. Мы с сестрой без особого удовольствия, словно сдавая за отца экзамен, рассматривали кипу бумажек, обертки от бритвенных лезвий и флакончики из-под лекарств, карандаши, болты, гвозди и зажималки, мотки проволоки и тубы клея, кучи ничего не стоящего старья.

«Как у тебя в ящике, так у тебя и в голове. Что здесь за беспорядок?»

И только по окончании процедуры приведения большого ящика стола в порядок отец считался ушедшим в море. Уровень отцовского присутствия в доме до следующего возвращения будет поддерживать идеальный порядок, наведенный в его шкафу, в ящиках стола, в мастерской; белые шарики нафталина в карманах его пиджаков и плащей.

По понедельникам вечером мы слушали по радио «Программу для моряков». Передавались все те же пожелания счастливого плавания и скорого возвращения, а также популярные мелодии, которые судовые радиостанции не могли принимать на далеких меридианах. Стоило кораблю пройти Суэцкий канал или Гибралтар, и «Программа для моряков» уже не принималась. Под занавес программы диктор спрашивал: «Где сейчас наши корабли?» И далее перечислял: «Динара» в Адене, «Третье мая» в Анконе, «Радник» в Басре, «Босна» и «Тухобич»

в Бомбее, «Кострена» в Генуе, «Подгорица» на пути в Гонолулу, «Триглав» в Иокогаме, «Раб» плывет в Новый Орлеан, «Дрежница» в Триполи...

* * *

На протяжении многих лет мы следили за передвижениями отцовского парохода. По окончании передачи я брал лист кальки, на который предварительно наносил карту мира. Красной линией вычерчивал курс парохода, а синим рисовал кружочки гаваней, в которых он бросал якорь. Красный след химического карандаша вел к портам, в которых проходила невидимая часть отцовской жизни. Но мы для него тоже были невидимы. Письма, которые судоходная компания доставляла в отдаленные порты, содержали только незначительную часть произошедшего в нашей жизни в его отсутствие. Эти письма, в которых у нас с сестрой были свои главки, не могли рассказать даже малую часть ежедневного течения жизни, о которой он потом узнавал из старых газет, пролистывая их у четырехстворчатого окна эркера. Позже наши главки переросли в полноценные письма, которые мама читала вслух и немедленно редактировала. Случалось, она указывала на некоторые неточности, на иную версию событий, которые, как она считала, имели иной характер. Мама исполняла роль цензора. Письма сестры были правильными, и мама редко вмешивалась в них, в отличие от моих, перевиравших действительность. Когда я отправился на учебу и избавился от цензора, мои письма к отцу приобрели форму, которая представлялась мне идеальной: в роскошных деталях подробно описывался каждый день, сообщался рисунок чулок особы, сидящей в трамвае напротив меня и читающей газеты. По возможности сообщались заголовки и подзаголовки газетных статей.

В отцовских письмах не было описания гаваней и городов, словно он писал только в плавании, окруженный небесами и водами. Но зато мы в мельчайших подробностях узнавали привычки кока-китайца, а также любовные проблемы некоего чилийца, игравшего на гитаре, или жизнеописание заики-радиота из Кострены. У этого радиота была красивая жена, которая якобы изменяла ему во время отсутствия. Об этом знали даже в нашем городе. В соответствии с теорией моей мамы следовало опасаться женщин, которые курят, делают маникюр, кокетливо смеются и вообще каждым своим движением привлекают внимание. К тому же мама была убеждена, что Стипе (так звали радиота) стал заикаться в результате женитьбы на этой женщине. Позже они развелись, Стипе нашел другую женщину и перестал заикаться. Так утверждала мама после того, как однажды встретила его в Риеке. Так я приобрел некоторый опыт и в период взросления старался избегать легкомысленных девушек с маникюром, кокетливо смеющихся и вообще склонных к распушенности. Я не знаю ни одного мужчины, кроме моего отца, которому бы повезло найти правильную в этом смысле женщину.

Самый успешный рейс в жизни он совершил автобусом на Фрушку-Гору.

«Если женщина может отправиться спать, не вымыв посуду, или, скинув туфли, просто затолкает их под кровать, то она никого не сможет сделать счастливым, от такой женщины следует бежать сломя голову», – говорила мама. Теперь я знаю: если мне что-то и удалось в жизни, то только потому, что уберегся от женщин, которые могли погубить меня.

* * *

Едва проснувшись, с первыми тактами дня, я сразу угадываю и интонацию. Именно этот тон, точнее шум, не прекращается и ночью. В правом ухе у меня звенит уже тридцать лет. Звенело и у Шумана. Закончил он в сумасшедшем доме. Я туда не попаду. Все-таки я осознаю все опасности, которые могут меня привести в сумасшедший дом. Жизнь развивается по невидимым партитурам. У каждого своя интерпретация, каждый читает по-своему. Именно по этой причине я знаю, что моя сила – в четком предвидении. Как зверь, я прислушиваюсь к развитию

дня. Незваные гости дают о себе знать звуками гобоя, еще до того, как их тимпаны неминуемо прозвучат перед дверьми. Дирижерский талант я унаследовал от матери. Руди, она хранила в голове целые симфонии. Она и в шахматы играла. Постоянно обыгрывала отца. Нет более сильной эмоции, чем тяготение к порядку, нет более глубокой печали, вызванной тем, что мир невозможно переделать. Продвигаться вперед, как шахматные фигуры.

«Многие считают меня ненормальной только потому, что я каждому стараюсь угодить, – говорила мама. – Но запомни, – и я помнил, – этот мир не стоит на месте только потому, что существуют те, которые, даже если их считают сумасшедшими, не отступают от своих принципов. И если доброта – признак слабоумия, то я согласна быть слабоумной».

Я не сомневался в том, что мир не стоит на месте, как и в том, что моя мама – добрый человек, хотя мне до сих пор не понятна связь между добротой и аккуратностью. Я думаю, что мир продвигался бы вперед еще быстрее, если бы было больше людей вроде моей мамы. И потому, не желая снижения скорости мира в продвижении, я перенял принципы моей мамы и даже усовершенствовал их, что, полагаю, хоть немного увеличило эту скорость. Аккуратность облегчает движение, экономит самое дорогое – время. Принятие стандартов поведения дает возможность избегать недоразумений, сохранять свои и чужие нервы, а тем самым и здоровье. Следовательно – аккуратность и забота об окружающих. И чем аккуратнее человек, тем меньше недоразумений он привносит в и без того хаотичный окружающий мир.

«Разбуди меня посреди ночи, и я, не включая света, найду то, что мне надо», – говаривала мама.

Можно ли найти лучшее доказательство исконной связи мрака и здоровья?

Когда я читаю библиотечную книгу и обнаруживаю на одной из страниц присохшую крошку, аккуратно сбрасываю ее кончиком пальца. Однажды я на полях книги увидел пометку, что-то вроде виньетки, и обнаружил на ней тонкий полумесяц ногтя. Напряжение, заставившее неизвестного читателя грызть ногти, не было вызвано содержанием книги, тем более на той странице со скучным диалогом. Причина нервозности читателя была вне книги. Пятна от фруктов губят бумагу. Эти следы со временем становятся все более заметными, и в результате через десять-пятнадцать лет достаточно лишь прикосновения пальца, чтобы бумага рассыпалась. Вслед за этим рассыпается моя концентрация. И больше не могу читать. Останавливаюсь на подчеркнутой строке или пытаюсь расшифровать комментарий на полях. В итоге мне удается прочитать до конца только новые книги, без следов, оставленных предыдущими читателями. Потому что эти следы тревожат меня. Насколько помню себя, я вечно встревожен. Это мое свойство только мама отмечала как что-то особенное. Моя проблема состоит в том, что я все воспринимаю чересчур близко. Вот, например, моя первая жена, Юлия, тоже все принимала чересчур близко к сердцу, но она умела экономить это чувство, применяя его только в одном направлении, я же распространял его на все. Мой отец годами плывал на линии Ирландия – Бискайский залив на сухогрузах. Никогда не было заранее известно, в какой порт придется зайти по пути, таков уж характер насыпного груза. Я за всем слежу, Руди. Я надзираю за всей планетой. Например, в это мгновение по меньшей мере тысяча людей отправляются покупать стулья, находясь на приблизительно одинаковом расстоянии от магазинов, в которых каждый из них купит по стулу, и сам факт, что все это происходит без моего контроля, сводит меня с ума, я ведь в жизни ничего иного не желал, как контролировать всю планету. Прислушиваться к дыханию мира. И лишь однажды я занялся делом, которое меня полностью удовлетворяло. Это случилось после разрыва с Юлией. Я не мог ни играть, ни сочинять и потому устроился ночным сторожем на стройку. Стены зданий уже были возведены, шли отделочные работы. А я ночами обходил квартиры, которые днем убирали Нерины. Вскоре мне показалось, что эта симметрия исчезнет и все эти сотни квартир отдалятся друг от друга, как только что родившиеся близнецы. Каждая определится самостоятельно, потому что вот-вот прибудет

мебель, следы шагов в каждой квартире создадут свой, особый рельеф. Я же всю свою жизнь был незаселенной квартирой, так и не успел создать свой собственный порядок. Все временно, временные профессии, временные женщины, и все мои намерения были временными. Я так и не сумел передать себя самого себе.

Почему я расстался с Юлией? Нет, я спокойно могу говорить об этом. Человека, к которому ушла Юлия, тоже звали Руди. Почему вас так назвали? Это имя можно привязать к любой местности, неважно, к Праге или к Триесту. Может, оно появилось в Сегедине. Я отчетливо вижу кухню, в которой Руди пьет по утрам кофе с молоком, керамическую черно-белую плитку, потому что все кухни, на которых вырастают Руди, одинаковы. Белград, Марибор или Брно. Я угадал? Насчет Словении? Не в честь ли симпатии твоей матери дали тебе такое имя? Ладно. Тот мой Руди, собственно, Руди моей жены, я звал его Папой Карло, он был театральным режиссером. У него была деревянная нога. Пятнадцать лет назад он гастролировал в Белграде. И вот этот Руди, то есть Папа Карло, настолько вдохновился сценографией Юлии, что вскоре пригласил ее работать над новым спектаклем в Мюнхене. Она добилась, чтобы музыку к спектаклю написал я. И тогда я создал лучшее свое произведение. Оно очень понравилось Папе Карло. Но их следующая постановка в музыке не нуждалась, и я вернулся в Белград. А Юлия нашла решение и для нового спектакля, и для Папы Карло, и для меня. Для того нового спектакля Папы Карло она полностью очистила сцену, подчеркнув пустое пространство. Знаете, как? Светом. Да, таков уж мой удел, дорогой Руди. Этот свет. Во время всего спектакля освещение не фронтальное, а контровое, невероятная пустота, осмысленная пустота, пять занавесов света, которые полностью изменяют, уничтожают пространство, точнее, создают пять различных пространств на одном и том же месте. Косые полосы света, они переламываются. На генеральной репетиции мне все стало ясно. Пять источников света не могут принести ничего хорошего. А потом туннель, как какая-то взлетная полоса. Я растерялся, потому что Юлия нашла решение, ее чувства были ограничены, и поэтому она так сэкономила их. Я всегда чувствовал, что ей самой нечего сказать, но она безошибочно распознавала того, кому есть что сказать. А Папа Карло, с его характерным постукиванием протеза, поставил точку. Не троеточие, но точку. Окончательную. Она ушла в мир вслед за этой деревянной ногой. Дни напролет я сидел в квартире с зашторенными окнами, воображая, что я ослеп, что живу в идеальном равновесии, в которое трещины света не вносят беспорядка. Возвращаясь ночами по шоссе из Нового Белграда, где жила Елизавета, я закрывал глаза и начинал считать. Сначала до пяти, потом до десяти. Я вел машину уверенно, неровности дороги не влияли на движение. Я оставался в своей колее. Это пугало Елизавету. Но в полной темноте все вокруг здоровое и чистое. И тогда я отказался от этой полупустой привычки закрывать на ходу глаза. А ведь я считал уже до десяти. Десять секунд езды во мраке. После смерти Елизаветы я опять начал ездить с закрытыми глазами. И начал с рекордного числа: десять... И на счете одиннадцать потерял сознание. И получил не один, а два протеза.

Каждый из нас после смерти оставляет контурный глобус. Границы государств постоянно меняются, города разрастаются, реки меняют русла, искусственные водохранилища затапливают долины. Дома рушатся, углы исчезают, в кинотеатрах гаснет свет. Доверять можно только контурным картам. И контурному глобусу. Жизнь тоже контурная. Как войти в контур? У каждого в себе есть что-то негативное, рулоны прожитых дней и лет. И так мало выходит из камеры сознания на дневной свет. Только в мгновение исчезновения можно просмотреть все непроявленные негативы. Одним-единственным взглядом охватить весь архив. Полдень в Джакарте. Мой отец передает агенту корабельную почту, но, спрятавшись за грудой исписанных фраз, вдруг становится кем-то иным. Коротко говоря, в кармане времени, который невозможно контролировать, он отдается тайной бухгалтерии. Послеполуденный ливень. Дымящийся папоротник. Голоса, доносящиеся из бамбукового дома. Письмо еще не отправилось, но через

десять дней стены будут воздвигнуты. Сейчас наступило мгновение космической дыры. Он не состоит на учете. Останутся только сувениры, привезенные из путешествий, пачки писем в шкафу. Предположения, этот гигантский папоротник из семейства сомнений, спустя годы после смерти отца прорастут в монологах моей мамы. Она никогда не пряталась в тени сомнений. В партитуре всегда было нечто, что пробуждало у нее сомнение, направляло в лабиринт пауз, ложных пианиссимо, в глубинах которых звучали тимпаны и колокола. Лиги и триоли – пустая трата времени, неубедительное алиби, след черного фонда жизни. Идиллия состоит в незнании. Моя мама так никогда и не расслабилась, она просто все, абсолютно все знала. Это то знание, которое появляется во время разглядывания фотографии счастливой пары, отмечающей «золотую свадьбу». Десятилетия выпадают в осадок, потомки, собравшиеся на семейной фотографии. Но давайте немного дольше задержим взгляд на лице виновницы торжества, этой тихой старушки с ангельскими чертами лица, и тогда появляется Некто, видимый настолько, насколько виден водоворот на середине реки, как легкая рябь на поверхности реки. Это самое страшное, неопровержимый факт того, что существует Некто. Даже тогда, когда его нет, существует Некто. Я всегда хотел стать этим самым Некто. Потому что, казалось мне, только так жизнь не сумеет меня обмануть, только в этом черном фонде кроется доход, не занесенный в бухгалтерские книги, это единственное непреходящее удовольствие. Со временем оно, напротив, только крепнет. Это и есть те самые не проявленные негативы, не изученная география души. Джакарта, ливень, папоротник. Отрывок невидимой жизни, обычное мгновение, но все-таки самое близкое. Но что-то меня задевало. И печалью, и красотой. Что я был готов отдать за овладение полуминутным летним ливнем в отцовской жизни! Спрятавшись или просто укрывшись за забором слов, написанных в той тайной жизни?

И я был Некто. Я все время обманывал. И первую, и вторую жену. Не потому, что моя жизнь не удовлетворяла меня, что я не любил своих жен, но только потому, что не в силах был пропустить еще одну историю. И чем невозможнее было начать этот флирт, тем сильнее я старался попытаться, потому что именно невозможность совершить что-либо хранила меня, и я мог играть в эту игру, не обманываясь в ее реальном исходе. Я чувствовал, как возмещаю нечто недостающее в себе. В вечных поездках. Только в них я ощущал себя иным. Я был Некто. Невидимый диссонанс в идиллии, которая триумфально праздновалась на семейной фотографии. И когда флирт завязывался, я не бежал как пес, а выстраивал целую параллельную жизнь, придумывая технические возможности поддерживать ее. И больше не знал, кого я люблю. Все это повторялось. В какой-то момент у меня было несколько любовниц, и каждая история мне нравилась, и я непременно хотел в них участвовать. Так протекала моя жизнь. Я приезжал в город, где жила какая-нибудь из них. На следующий день отправлялся на рынок, прохаживался вдоль прилавков, и мне казалось, что я знаю всех тамошних людей. Как прекрасно ощущать себя гостем в собственной жизни.

Однажды, на каком-то пляже в Истрии, который называли «Индонезией» из-за бамбуковых бунгало с крышами из дранки, мой отец, увидев на террасе ресторана полуголых девчонок, сказал: «Совсем как в Джакарте». И я понял его улыбку. И узнал, что он был Некто. Что оставил след на фотографии, которая, возможно, и не была сделана, на лице, которое еще не обрело свое окончательное выражение. Он был Некто, только мысль, воззвавшая к мгновению свободы в аккуратных ящичках чьей-то головы, была тайно зафиксирована в черном фонде прошлого.

Я родился в ненадлежащем месте. Вовсе не выдумка то, что там лучше, где нас нет, это сущая правда. Это ощущается. Я всегда чувствовал, что нахожусь в неподходящем месте, и потому не ощущал местного колорита. Я сам был своими окрестностями, так я и жил. И рос я так, словно расту в неподходящем месте, тут и случилось короткое замыкание. И потому я такой, какой есть. А где оно, это настоящее место, а, Руди? Такое, чтобы там были прочные

рамки, какие-то правила. Несмотря на войны и революции. Чтобы был компас. Чтобы было «там» и «здесь», чтобы были стороны света. Места пронумерованы. Заказы выполняются. На места в поезде, ресторане, театре. Десятилетиями можно пользоваться одной и той же маркой мыла. И это не мелочи.

Это и есть та самая прочная опора. Когда я могу в любой момент купить бархатные брюки, а не только тогда, когда они входят в моду. Когда антикварные лавки полны остатками чужих жизней, свидетельствующих о каких-то лучших временах. И пусть это не наши лучшие времена, пусть это не наше прошлое, все равно это лучше. Сам факт, что когда-то кому-то было лучше, свидетельствует о том, что и мне будет лучше. Что парки приведут в порядок, что наша валюта станет конвертируемой. Что козий сыр навсегда сохранит свой вкус. Что в любой день я смогу купить стельки для ботинок. Что существует постоянство, что почтальон приходит в одно и то же время. Знаю, что и там будут неоплаченные счета, в том самом настоящем месте, и там жизнь будет постоянно перестраиваться, но стройплощадка будет, по крайней мере, огорожена и на ней будет временный водопровод и генератор переменного тока. Все будет осязаемо, и все можно будет опробовать в порядке очереди и не под бессмысленные вопли.

Когда я живу там, где следовало бы жить, хотя бы и мысленно, мне сразу становится хорошо. Мама говорила, что все это из-за освещения. Это и Папа Карло сказал на генеральной репетиции. Произнес фразу моей матери. Если освещение неудачное, то все становится неправильным. И нездоровым. Почему бывает так, к примеру, что при наличии одной и той же суммы денег, планов, обязательств становится весело и все выглядит достижимым, а в другой раз оказываешься на грани самоубийства? А я ведь планировал наложить на себя руки. Сейчас совершить это намного сложнее. Но тогда, когда я был волен, эх, что это за план был! Не веришь, Руди? Это звучит прелестно. Я планировал уехать в Будапешт, потратить все деньги в борделе, а потом отправиться на поезде в Дебрецен или еще дальше, в сторону украинской границы. И впервые мне было наплевать на то, что окно не закрывается, потому что не успею простудиться до наступления смерти. По дороге уничтожить документы, чтобы никто не узнал, кто именно покончил с собой. В месте, где я никогда не хотел жить, меня сочтут без вести пропавшим. Нарядился бы бродягой, совсем неприметным. Венгрия – бульвар, по которому шатаются нищие Восточной Европы. Здесь они все собираются, она для них – зал ожидания, из которого они когда-нибудь перейдут в салон. Я забыл, как называется этот город на границе. Может, он на Украине? Туда я хотел уехать. И встает передо мной одна и та же картина: дождь льет как из ведра, все не подшито и износилось, совсем как полотенца у той моей сиротки. Переполненными улицами тащатся румыны, афганские беженцы, украинские проститутки, тибетские монахи, болгарские скупщики овощей, албанские наркодилеры, сербские сутенеры и я, бледный, с лихорадочным блеском в глазах отчаянно шлепаю по грязи мимо верблюдов. Я никогда не признавал местного колорита и потому в конце решаю уйти из жизни именно в такой мизансцене. Раз уж я не сумел найти себя, раз всю жизнь безуспешно пытался определить стороны света, ввести какие-то стандарты, чтобы молоко всегда было той жирности, какое указано на этикетке, чтобы зимой в транспорте топили, чтобы лифты работали и чтобы было неприлично обманывать. Итак, ничего этого я не сумел добиться, в том числе не сумел и навсегда самоустраниться. Но я совершенно точно знаю, что сейчас я, такой, как есть, не смогу прийти на вокзал, подняться в вагон, сойти в Врнячке-Баня, прогуляться по парку, выпить кружку минеральной воды и в тот же день вернуться домой. Или прокатиться на велосипеде, это тоже невозможно. Это неправильное место, здесь нет сервиса. Хотя что такое этот велосипед, эта забота о здоровье, эта боязнь состариться... Человек не знает, что лучше – неспешность Востока или прагматизм Запада. Единственная для меня правильная территория – вагон. Хорошо иметь своего проводника, который всегда вовремя подскажет, когда и где следует сойти, чтобы провести какое-то время в этом месте, а затем продолжить путь. Хорошо быть членом ордена

Серебряной ложечки из «Восточного экспресса». Я рассказывал вам об этом, Руди?

А может быть, в последний момент, когда я отправлюсь из Дебрецена к Украине, может быть, тогда я пожелаю успокоиться на каком-то побочном желании, и тогда... Выйду в каком-нибудь маленьком городке, сниму в гостинице комнату, пройду по главной улице мимо аптеки, остановлюсь перед витриной лавки с деликатесами. Колокольчик над дверью возвестит о моем появлении. Из подсобки выйдет рыжеволосая девушка с прозрачной кожей лица, усыпанной веснушками. Все это без напряжения, так мягко и неслышно, что мне захочется остаться в этой лавке, чтобы оформлять витрину, разгружать доставленные продукты, убираться на складе, заносить поставки в амбарную книгу, ничуть не задумываясь о своей земной миссии. Я сразу бы расслабился, то есть даже не знал бы, что такое «расслабиться», потому что постоянно был бы укутан и убаюкан пестрыми обертками приятной провинциальной жизни. Закрыв лавку, раздевал бы мою продавщицу и приглушал свет. Еще провожая последнего покупателя к выходу и кивком головы подтверждая каждое произнесенное им слово, заботливым взглядом окидывал бы полные корзины пирожных и пузатые бутылки ликеров в витрине, мысленно уже тиская груди моей продавщицы. Я всегда ощущал эрекцию в церкви. В пустых университетских аудиториях, в подвалах и гаражах. На кладбище. Особенно там. Мне нравятся похороны незнакомых людей. Подхожу к группе скорбящих, выбираю местечко сбоку и принимаюсь тайком рассматривать лица. Чем ближе к разверстой могиле, тем сильнее эрекция. Лица изможденные, бледные, глаза опухли от слез, потемнели, тихо переговариваются. Верчу головой, будто отыскиваю знакомые лица. Черные платки, шали, узкие платья обтягивают взволнованную плоть, запах чернолесья, фотографии на мраморных плитах, венки и засохшие цветы – все это опьяняло сознанием того, что еще не конец, и я ощущал прилив храбрости, которой мне вечно не хватало. А потом в молчаливой толпе сверкнет острый взгляд, обдавая меня как утренний ветерок. Обмениваюсь взглядами с особой и потом следую за ней, отделяя ее от стада, как лев антилопу.

Разве вам, Руди, никогда не приходилось ночью бродить по улице, разглядывая фасады домов? За одним из освещенных окон или во тьме, как сова в дупле, скрывается особа, которая целиком принадлежит вам, но никогда вы не будете обладать ею. Сколько раз я в опьянении, с бьющимся сердцем стоял на улице, провожая трамваи, и, словно добрый дух города, держал все под своим контролем. Это постоянно происходило со мной во время моих побегов, когда я благодаря придуманному алиби продлевал командировку, останавливаясь в одной из возможных жизней, в двойном дне обыденности.

Однажды, помнится, в Новом Саде я провел два дня. Дождь лил не переставая, и сырой запах наполнял квартиру моей любовницы. Я проснулся рано и, не зажигая света, неслышно вышел из комнаты. Я отправился на рынок. Когда вернулся, она уже в прихожей прижалась ко мне и расстегнула ширинку. Я стоял, держа в одной руке зонт, с которого капала вода, образуя на паркете все разрастающуюся лужицу, а в другой – пакеты. Я не решался опустить их на мокрый пол. Она уже взяла мой член в рот, и он набухал. И тут я вспомнил, что забыл купить картошку, но мне нравилось, как он растет у нее во рту, и я любил ее, и потом вспомнил, что не купил картошку, потому что накануне вечером видел ее на террасе, а картошки нет у меня дома, в привычном жилище, и перед отъездом сюда я подумал, что надо бы купить картошки, а тут вот вода на паркете и мой член в ее губах. Я опустил пакеты на пол так, чтобы они не попали в лужу. Потому что на дне одного из пакетов был хлеб, и он наверняка бы размок. А член уже пульсировал. И мне было хорошо, потому что все в порядке и что на всех принадлежавших мне террасах есть все необходимое. В том числе и картошка. Я выключил свет. В прихожей было темно. Я был здоров. Я бросил зонт. Я расслабился в темноте, хотя и чувствовал воду на полу прихожей, когда наконец обнял ее освободившимися руками. Этажом ниже разговаривали соседи. Я слышал отдельные слова, «сегодня водопроводчик придет», и

«вы слышали, отопление подорожало», и «как вы сумели заснуть в таком шуме, это просто недопустимо». Я слышал все и словно не слышал ничего.

Посмотри на этого типа, вон там. Адвокат, выпускник Гарварда. Ему уже за шестьдесят, а бегаёт. Какая незадача. Большой дух в здоровом теле. Вечно любезный, ежеминутно проверяет каждую жилку, каждую морщинку. Давление, сахар, простата – все под контролем. Кредитки аккуратно сложены в бумажнике. Два раза в неделю теннис. Живёт сам, но с одиночеством не мирится. Он одинок не для того, чтобы испытывать на себе безмерное одиночество, просто так дешевле. Чем дальше продвигаешься с Востока на Запад, тем сильнее ощущается одиночество. Там все только потребляют. И ничего не ценят. Им все равно – мазать белков зеленой краской, чтобы испортить мех и тем самым спасти от охотников, или покупать этот самый мех в элитных парижских бутиках. Всего у них полно. И это тоже тот самый человек, который находится в центре мироздания. Говорят, что сердце мира стучит в Манхэттене. И там точно известно, как тебе надо выглядеть на Уоллстрит, а как в Гринвич-Виллидже. Откуда я это знаю, Руди? У меня спутниковая антенна, и я еженедельно смотрю по одной программе одной из стран. Я еще не видел ни одного триллера, в котором появился бы простуженный детектив. Почему каждую историю следует заканчивать? Хоть я и не знаю язык, слова мне много о чем говорят. Всегда одна и та же улыбка, та же одежда, те же жесты. Заботиться о том, как ты выглядишь, показать себя так, чтобы сразу узнали. Потреблять и только потреблять. Мир – истощенный рудник, все выкопано. Сердце у меня заболело, когда узнал, что самые крупные европейские автомобильные заводы используют одни и те же детали, их автомашины отличаются только внешним видом. А между тем все соединения, коробки передач, выхлопные трубы – все одинаковы. Так и люди, все меньше они отличаются друг от друга. Куда не приедешь, всюду одно и то же. И разве не аморально есть спаржу, живя на севере? Тотальная доступность вредит здоровью. Жить по камерам, по своим регистрам. Тогда есть к кому сходить. Проблема мира состоит в том, что все места в нем ужасно одинаковы. А туда, где все, как у тебя, ехать смысла нет.

«Важно, чтобы он не терял времени», – этой фразой заканчивался каждый разговор моих родителей о моем будущем. Тогда я еще не понимал, какую именно активность они имеют в виду, говоря о том, чтобы я не терял времени. Я и сегодня этого не понимаю, как не знаю и того, почему бурной деятельности достаточно, чтобы не терять времени. И существует ли вообще такой вид деятельности, который сам по себе является пустой тратой времени?

Может быть, наш сосед, господин Ходак, напрасно терял время, часами перелистывая регистрационную книгу гостиницы «Централ», в которой провел почти всю жизнь, работая портье. Переворачивал пожелтевшие хрупкие страницы формата «ин фолио», читал фамилии постояльцев, их личные данные, занесенные в рубрики побледневшими чернилами. Господин Ходак вспоминал тех, кто надолго останавливался в гостинице, несмотря на то, что с тех пор миновал уже не один десяток лет. В основном это были молодые офицеры, не ночевавшие в казармах. И мой отец, в то время флотский унтер-офицер, некоторое время, сразу после окончания войны, жил в гостинице «Централ». Мы нашли его имя в одной из регистрационных книг за 1949 год, дату его заселения и номер, в котором он жил. Я верил, что господин Ходак хранит в своей памяти досье на моего отца. Он помнил многих обычных постояльцев гостиницы, даже довоенных, и во времена Италии, вспоминал важные события, связанные с гостями этого городка на краю света. Большая часть жизни господина Ходака сводилась к коллекционированию постояльцев, зарегистрированных в десятках книг на протяжении десятилетий. Каждый запомнившийся ему гость становился наклейкой на фрагменте его собственного времени. К концу жизни он отчитывался перед самим собой о пройденном расстоянии, пересматривал товарные накладные и путевые листы. Документы на сыпучий груз, который он перевозил всю свою жизнь, какой бы фиктивной она ни была, стали единственным доказательством не напрасно прожитой жизни.

Я тоже готовился к торжественному акту отчета о потраченном времени. В попытках побороть этот порок я все глубже погружался в апатию, предчувствуя, что израсходованное время утрачено навсегда. Я валялся в кровати после полудня. Развлекался пустяковыми мыслями, и как только догадывался, что это и есть пустая трата времени, ловил следующую мысль в пруду своего ума.

Долгое время меня мучила одна проблема, которую походя упомянул учитель истории. После Трианонского договора, когда Венгрия потеряла две трети территории и почти половину населения, которое вдруг оказалось на территории соседних государств, большой проблемой стали железные дороги. Важные железнодорожные узлы после Трианонского договора очутились за границей, и перед Венгрией на многие годы встали технические проблемы. В мыслях я поездом отправлялся из Будапешта к новым границам, где ночами напролет ожидал пересадки. В прокуренных вокзальных ресторанах слушал разговоры, не понимая ни слова. Разглядывал спящих детей. Их присутствие невыносимо. Сколько раз они портили мне впечатление от путешествий. В правильно устроенном мире должны быть специальные вагоны для матерей с детьми. Почему ни в чем не повинные люди должны сносить террор этих созданий? Дети в поезде мешают мне вовсе не потому, что плачут или сильно шумят. Мне мешает то, что они ломают мои мысли, и даже если они хорошо воспитаны, их взгляды просто невыносимы. Таким взглядом я смотрю на себя сам и узнаю в испуганном ребенке на сцене, глубоко утонувшей в прошлом, в кулисах отчего дома самого себя.

Одной из важных точек в топографии нашего дома была плетеная корзина для белья. Перед купанием я поднимал круглую крышку и, бросая грязное белье в корзину, замирал на мгновение, проверяя, нет ли в корзине еще чего, кроме белья. Потому что форма корзины напоминала фотографию, сделанную отцом в Бомбее: на тротуаре сидит на корточках индус с флейтой, а рядом с ним глиняный горшок, из которого выглядывает кобра. Каждые пять-шесть дней мама опустошала корзину, напоминая мне и сестре, чтобы мы тут же загрузили все грязное белье в машину. Чтобы корзина хоть раз переночевала пустой.

Момент, когда осквернялась пустота корзины и на ее дно падал комок грязного белья, вызывал у меня какую-то затаенную тоску, понимание того, что, несмотря на ритуал поддержания чистоты и порядка, ничто не может длительное время пребывать в покое. Я мечтал о наступлении момента идеального порядка. И потому позже не раз включал полупустую машину, лишь бы как можно чаще видеть пустое дно корзины. Потому что, глядя на голубоватое полотно, которым корзина была обтянута изнутри и которое также два-три раза в год стирали, я находился в состоянии полного умиротворения. Может, именно оттуда ощущение свежести, которое у меня вызывает голубой цвет?

У самой корзины, в углу ванной, стояла стиральная машина, полуавтомат марки «Зопас». Сейчас я не могу припомнить, что означал термин «полуавтомат», но знаю, что мама иногда в процессе стирки доставала из машины белье. Технические аппараты наполняли пространство квартиры соответствующими запахами. Холодильник «Игнис» объемом в две сотни литров издавал характерный звук. А когда температура в нем достигала необходимого уровня, мотор отключался автоматически. На мгновение холодильник вздрагивал и прекращал потреблять электричество, соответственно мотор не издавал звуков, все замирало в ледяном спокойствии и тишине. В трех метрах от холодильника, как то предписывали правила, находилась небольшая плита марки «Аустрия-Дитмар» с двумя конфорками, металлические ободы которых после десяти лет эксплуатации идеально сверкали, «как будто только вчера из магазина». Да, это объявляет мамин голос. И я знаю, что настало время проверить, открыта ли крышка машины, чтобы барабан находился в постоянном контакте со свежим воздухом, чтобы резиновая прокладка в закрытом пространстве не разбухла от влаги. На хромированных частях белой техники время от времени вследствие небрежности появлялись пятна, которые потом

превращались в проржавевшие точки. Старение вещей и предметов указывает мне на то, что все проходит, лучше морщин, которые обнаруживаю, разглядывая себя в зеркале после бритья. Но и на раме зеркала влага оставляет серенькие пятнышки, а белые полоски между кафельными плитками в ванной и на кухне со временем темнеют, и нет никакого средства, чтобы с его помощью вернуть им прежний цвет. Ни в чем нет утешения, словно единственное место, где сохраняется девственное совершенство начала, – пустая бельевая корзина.

А когда ее голубоватое дно закрывали грязные предметы одежды, начинался период нервозности, который стихал обратно пропорционально опустошению корзины. Потому что совсем не то, когда грязная рубашка летит в почти полную корзину, чем момент, когда первый комок несвежего белья падает на пустое дно. О каком чувстве беззаботности можно говорить, когда в практически полную корзину падает очередная тряпка? И до мгновения опустошения корзины еще далеко.

И вот тут, среди вещей и предметов, происходила жизнь, не зафиксированная ни в хрониках, ни в истории, невидимая жизнь, не существующая на живописных экранах телевизоров. Этой жизнью не интересуются газеты, ее нет ни в книгах, ни на киноэкранах. Несмотря на то, что в нашем доме не случилось преступлений и измен, громких побегов и краж, несмотря на то, что жизнь на первый взгляд текла мирно и незаметно, как равнинная река, под ее поверхностью таились водовороты, подводные пещеры сковывали ледяным холодом. В отсутствие матери мы с сестрой предпринимали настоящие экспедиции, шаря в шкафах и комодах, вытаскивая ящики, открывая коробки и шкапулки. Необычные предметы сразу расширяли знакомую географию. И позже, когда мы обнаруженное возвращали на место, ничто уже не оставалось прежним. Потому что обнаружение серебряного флакончика для духов величиной с наперсток, веера из фальшивой слоновой кости или каталога из универмага с пожелтевшими страницами раздвигало пространство квартиры до невероятных размеров.

Известное равновесие в восприятии времени как враждебной категории, которую исповедовала моя мама, сохранял Миодраг, мой дед со стороны отца. В отличие от мамы, всю свою жизнь борющейся против категории времени, как будто время было врагом, которого непременно следует победить, дедушка Миодраг жил в вечности. По профессии он был диспетчером на железной дороге, но после возвращения из тюрьмы, куда он попал во время ссоры Тито со Сталиным, его разжаловали, и несколько лет он работал обходчиком на дистанции Сичево – Острвица. Где посередине этого пути стоял домик, в котором он жил с моей бабушкой Даницей.

Летом мы отправлялись поездом на другой край земли, пересаживались в Белграде и Нише, после чего «рабочим в три ноль-ноль» добирались до станции Сичево, где на перроне нас встречал дед Миодраг. Каждое утро, до рассвета, он брал фонарь и отправлялся на обход своей дистанции. Он был высоким и без всяких усилий перешагивал со шпалы на шпалу.

Во время моего детства деда Миодрага восстановили в должности диспетчера на станции Сичево, а два года спустя отправили на пенсию. Одну вечность он сменил на другую. Став пенсионером, просыпался с петухами и, выпив чашку кофе и рюмку ракии, уходил вниз по дороге в направлении Острвицы. С этих утренних обходов он приносил вещи, найденные на полотне, в основном предметы, по невнимательности выброшенные из вагонов-ресторанов или же оброненные пассажирами, стоявшими у окон вагонов. Коллекция деда располагалась на стеллаже в нише, на внутренней лестнице, связывающей первый этаж с подвалом. Я помню серебряную ложку с монограммой «Восточного экспресса», зажигалки, очешники, часы, трубки, авторучки, мундштуки, браслеты, пепельницы, цепочки, маленькие чайнички из нержавеющей стали, сережки, стаканы, перочинные ножики, ключи, пластиковые подставки. Помню большую тарелку с монограммой «Metrope», которую дед Миодраг нашел у полотна в картонной коробке. Каким-то чудом на тарелке не оказалось ни единой трещинки. В коллекции находок был шахматный король из слоновой кости. Я никак не мог понять, каким образом эта

самая важная фигура закончила свой путь на насыпи. Неужели какой-то разгневанный игрок выбросил короля в окно, не в силах перенести проигрыш? Но зачем брать в дорогу шахматный комплект из слоновой кости? Я часами раздумывал над тем, как владелец шахмат решил проблему потерянной фигуры, проблему, которая наверняка была сложнее любой шахматной задачи; нашел ли он своему королю подходящую замену? Первые часы, швейцарскую «Омегу», я получил в подарок от деда Миодрага, трофей, который он подобрал на насыпи за два дня до моего двенадцатого дня рождения. Пришлось только заменить треснувшее стекло и порванный ремешок.

Я выбирал момент, когда взрослые были заняты, и незаметно пробирался на лестницу, ведущую в подвал. Здесь, рядом с длинным узким окном, которое казалось трещиной на фасаде дома, я перебирал экспонаты коллекции деда, подолгу разглядывая их, стараясь проникнуть в прошлую жизнь предметов. На полках стеллажа теснились вещи, по небрежности утерянные на участке дороги Сичево – Острица, вещи, выпавшие из своих прежних жизней. Я брал ложку из «Восточного экспресса» и рассматривал мутную посеребренную поверхность. Кто знает, как долго она гуляла от одного рта к другому.

И вдруг передо мной возникали десятки, сотни челюстей, я словно оказывался в пасти кита, в темной пещере, освещавшейся только блеском золотых коронок. Я видел пломбы и мосты, протезы и крючки, пахучие губы дам и усы господ, мокрые от супа и пива. Ложка из «Восточного экспресса», предмет, который объединял сотни людей, разбросанных по просторам земного шара, людей, которые наверняка никогда не встретятся, но составляющих огромную семью, лежала теперь на моей ладони. И я по какому-то тайному наитию вычислял вероятность, в соответствии с которой однажды в поцелуе сольются те, кто в разное время касался губами краев этой серебряной ложки. Пространство было все тем же: вагон-ресторан «Восточного экспресса». За окнами, украшенными синими занавесками, проносился пейзаж, пустынные станции с одинокими дежурными, окраины незнакомых городов.

В хранилище, расположившемся на лестнице, пульсировал неизвестный миниатюрный мир, законсервированный в уменьшенном масштабе, и я счел это одним из важнейших принципов мироустройства. И только звук колокола на фасаде дома, звук, который был громче звонка служебного телефона, висевшего в желтом металлическом футляре у входных дверей, прерывал мои путешествия. Если колокол звонил трижды и после короткого перерыва ударял еще два раза, это означало, что поезд следует из Ниша, а два, затем три удара указывали на поезд направления Пирот – Димитровград – София. Эта азбука Морзе особенно волновала ночами. Громкий звон иногда пробуждал меня из первого сна, и тогда я вслушивался, как издалека, от Ниша или Пирота, раздастся свисток локомотива и размеренный стук колес. Когда поезд оказывался метрах в ста от дома, стоящего у самых рельсов, пучок света врывается в окна, и в следующее мгновение на белых стенах комнаты начинали, вздрагивая, проноситься отсветы окон вагонов. Окна входили в окна и путешествовали по белым стенам. В следующие несколько мгновений казалось, что я тоже еду в этом поезде, как будто комната прицеплена к составу, который уже исчезает в темноте.

Дед Миодраг в отличие от моей мамы, которая была невысокой и подвижной, был нетороплив. Маленькие люди нуждаются в большем количестве движений, чем высокие, для преодоления такого же расстояния. Дед Миодраг был высоким человеком. Он жил в вечности, и я знал это по тому, как он с одинаковым интересом читал и вчерашние, и недельной давности газеты, и совсем свежие, только утром поступившие в киоск у станции. Дед часто говорил, что идеальна та скорость, которая позволяет нам вовремя оказываться на нужном месте. Хотя скорость и сокращает пространство, что наглядно демонстрирует железная дорога, у всего, однако, есть свои границы. Поезд, пришедший раньше положенного, нарушает расписание. Я понял это так, что размеры каждой страны зависят только от скорости поезда, и верил, что наша страна больше Франции или Германии, где поезда носятся с невероятной скоростью и проезжают от

одного конца до другого намного быстрее, чем в моей стране, где поезда не только медленнее, но и дольше стоят у семафоров на станциях, и потому из-за скорости и опоздания составов моя страна необозрима. Я всегда представлял вечность как стояние поезда перед семафором. Ты, Руди, когда-нибудь встречал нервного железнодорожника?

* * *

Моя мама мечтала о маленьких вечностях, не ведущих учет времени, стремилась к каким-то аппендиксам времени, в которых можно завершить незаконченные дела. А одно из дел, которое она не могла закончить на протяжении многих лет, было приведение в порядок альбомов с фотографиями. Все свое детство я слушал рассказы о том, что ей нужен по крайней мере месяц, чтобы разобраться с фотографиями. Отец был страстным фотографом, в связи с чем у нас накопились тысячи фотоснимков. Мама складывала их в картонные коробки и регулярно покупала альбомы. Помню с десятков дорогих альбомов, с которых даже не сняли целлофановую упаковку. После ее смерти остались альбомы и коробки с фотографиями. Она мечтала о времени, когда сможет остановиться и глянуть на пройденный путь. Я потратил ровно месяц, тот самый, которого ей вечно не хватало, чтобы разобрать все фотографии по альбомам и ощутить на себе ее взгляд, и этот призрачный взгляд позволил мне обернуться назад.

Фотографии я сложил в хронологическом порядке. На обратной их стороне карандашом были обозначена дата и место съемки. Тем не менее там не было имен персонажей. Однажды утром я разложил фотографии на полу в линию. Вереница фотографий протянулась по всей квартире, и вела она от входной двери через прихожую и гостиную до окна в спальне. Я шагал вдоль них как вдоль железной дороги. Шпала за шпалой. Всего в двадцать шагов я преодолел пространство целого века. Возвращался и опять шел вдоль фотографий. Целые поколения лежали здесь, рядом со мной, уместившиеся на расстоянии нескольких шагов.

Это превратилось в мои плавания, которые я какое-то время совершал ежедневно. Потому что, только расхаживая по квартире, мне удавалось бежать от одолевающих меня мыслей. Стоило только остановиться и усесться в кресло, как я сталкивался с собственным кровообращением, со сложным механизмом человеческого тела, которое в любой момент из-за какой-то поломки может прекратить функционировать. А поломку, я был убежден, может вызвать сама мысль о поломке. Я ходил вдоль этой дороги, составленной из сотен фотографий. На каждом шагу открывались новые пространства, населенные людьми, давно покинувшими этот мир. Я проникал в трещины времени, прислушивался к голосам, сталкивался с привычками этих незнакомых людей.

Отец, перестав плавать, окончательно бросив якорь, со временем приобрел новую привычку: принял на себя обязанности семейного интенданта. Мы уже жили не в маленьком приморском городе, а в Белграде. Каждое утро он ходил в магазин, а после десяти на рынок. Так что через полчаса после завершения утренних покупок у него появлялся повод вновь выйти из дома. Случалось, он отправлялся в центр города только для того, чтобы проверить, не сняли ли с репертуара фильм, который они с мамой хотели посмотреть. Газетам он не верил, потому что те якобы часто ошибались.

В течение дня количество обязательств возрастало. Если он замечал на моем столе адресованное кому-то письмо, то немедленно относил его на почту. Возвращался через полчаса с этим же письмом в руках, чтобы спросить, отправить его простым или заказным. Поначалу я думал, что его забывчивость связана с возрастом, но вскоре понял, что отец поступает так намеренно. Он постоянно искал предлог покинуть дом и несколько часов побыть наедине с собой, занявшись единоличным передвижением. Он никогда не пользовался телефоном, чтобы выяснить часы работы мастерской или врача или узнать, есть ли в лавке на другом конце города

именно то, что он намеревался купить. Для поездок на городском транспорте у него был проездной билет пенсионера. Рано утром он уезжал на самые отдаленные рынки. Сыр покупал на Каленичевом, фрукты и овощи на Зеленом Венце, а лапшу на Байлониевом, оправдывая ежедневные походы сомнительными причинами. Возвращаясь с рынка, точнее с рынков, он выяснял, что забыл что-то, и сразу же отправлялся вновь.

Сейчас я понимаю, что это были его плавания, когда он часами, ежедневно, плывал на городском транспорте по отдаленным белградским кварталам. Путешествуя трамваем с Вождовца, где мы долгое время жили после переезда из приморского города, в направлении Банова Брдо или Нового Белграда, он мысленно преодолевал расстояние от Риеки до Порт-Саида, от Фленсбурга до Карачи, от Гибралтара до Сингапура. В белградской квартире не было огромного эркера, который мог бы заменить ему капитанский мостик. Во время побегов из дома он опять был капитаном на мостике с мутной линией горизонта перед собой, а в автобусе или трамвае, положив ладони на спинку переднего сиденья, воображал, что касается отполированной поверхности штурвала. В особом отделении бумажника он держал образцы самых разных валют, от японских иен до кувейтских динаров. У него были огромные пестрые банкноты африканских стран. Некоторые из них уже исчезли с карт, но их археологические следы все еще существовали в его бумажнике. Он приплывал в порты исчезнувших держав, покупал вещи, расплачиваясь вышедшими из употребления деньгами, разговаривал с портовыми агентами, визитки которых продолжал хранить в пластиковом конверте. Часто вспоминал знаменитого Бородача, агента из Бомбея, уроженца Корчулы, с которым некоторое время переписывался. Но и перестав плавать, отец верил, что однажды получит срочный вызов от компании с требованием немедленно явиться на пароход. Однако это было маловероятно, потому что ему пошел уже седьмой десяток, и компания, в которой он проработал много лет, вряд ли бы стала платить солидную обязательную страховку за престарелого капитана и звать его на пароход.

Мне кажется, что, плавая по городу, он обнаруживал в себе черты своего отца, так же как я сегодня узнаю в себе его привычки. Ритм движений определил дед Миодраг, шаг за шагом, шпала за шпалой на участке дороги Сичево – Острвица.

Справа от полотна текла река Нишава, в пятидесяти метрах слева проходила автотрасса, по которой неслись дорожные крейсеры с регистрационными номерами Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока. Выйдя на автотрассу, я садился в тени паркинга и рассматривал большущие рефрижераторы и грузовики с прицепами и огромными кабинами. Метрах в двухстах в направлении Острвицы, рядом с гидроэлектростанцией, находился мотель, в котором ночевали шоферы. Каждое утро рыбача на Нишаве, я передвигался в сторону Острвицы, к полудню поднимался на крутой берег, переходил железную дорогу и направлялся к мотелю. Рядом с мотелем, в долине, засаженной виноградом, стоял списанный спальный вагон с несколькими купе, в которых жили официантки. Окна прикрывали выцветшие фиолетовые занавески. Время от времени в дверях вагона-бунгало появлялся кто-то из шоферов. Я наблюдал, как он пробирается к грузовику. Темное облако выхлопных газов вырывалось из-под грузовика как джин из лампы Аладдина. Грузовик исчезал в направлении Ниша или Пирота. Однажды в полдень, когда я рыбачил на Нишаве, подошла Ружа, молодая официантка из мотеля, и остановилась поговорить со мной. Она приблизилась ко мне, и я, Руди, впервые едва не упал в обморок от одной только мысли, что могу прикоснуться к ней. Обморок от одного только желания женского тела. Она сказала, чтобы я вечером пришел в мотель. Весь остаток дня я страшно волновался, и когда вечером тайком вышел из дома и направился к мотелю, меня стала бить дрожь. Приблизившись к террасе, я увидел Ружу, беседовавшую с посетителем. Спрятавшись за деревом, я стал свидетелем встречи, закончившейся в вагоне. Несколько дней спустя я уехал и Ружу больше никогда не встречал.

Мысленно я переносился в тот вагон, куда Ружа ушла с тем клиентом, и возбужденно мастурбировал. Образ молодой официантки вскоре растаял в памяти. И только вагон остался в ней, темно-синий списанный спальный вагон в тени деревьев, всего лишь в сотне метров от полотна дороги. Годами он носился по рельсам, корчились в любовных судорогах его обитатели; случайные встречи в коридоре, короткие взгляды, достаточные для того, чтобы выкурить сигарету, заменяли дни и недели ухаживаний; смелость, которую из-за кратковременности свидания принимают за уверенность, миг свободы от оков обязательств и ритуалов, жестких норм поведения, никчемный багаж воспитания – все исчезает, когда взгляды безмолвно обещают нечто. Я, Руди, нуждался в чем-то большем, чем обещание. Совсем недавно, пару лет тому назад, во время просмотра какого-то фильма в памяти всплыла фраза, которая, словно приговоренный к пожизненной каторге, томилась в глубине моей памяти. Не знаю, какая именно деталь или слово, произнесенное в фильме, из-за чего скрипнула дверь камеры, в которой томилась фраза, произнесенная маминым голосом: «А когда какая-нибудь девушка уведет тебя во мрак...» Второй части фразы не хватает. Видимо, она навсегда утрачена. Исчезла в тени тех самых деревьев у мотеля в Сичеве.

Я всегда вздрагивал, когда голос из репродуктора, объявляя отправление поезда Белград – Прага, упоминал прямой вагон на Дрезден. Загадка «прямого вагона», который на какой-то будущей станции отделится от состава и после короткого маневрирования вновь окажется в другом составе, который тронется совсем в другом направлении, пробуждала во мне любопытство. Я подходил к этому вагону как к святилищу, рассматривал пассажиров, не отличавшихся от прочих погрузившихся в зеленые вагоны.

Погружаясь в сон, из которого меня часто пробуждал колокол на фасаде дедова дома, объявлявший прибытие поезда из Ниша или Пирота, я представлял, как просыпаюсь на рельсах какого-то далекого города, как моя комната-вагон летит по дорогам Европы, как по Транссибирской железной дороге прибываю во Владивосток. Потому что моя комната-вагон и есть тот самый «прямой вагон», который, путешествуя по стальным рельсам, меняет направление и после короткой стоянки на параллельном пути включается в новый состав. Мой вагон путешествовал вдвойне, он путешествовал внутри путешествия. Он не мог ни опаздывать, ни прибывать раньше времени. Замершее мгновение вне всяких календарей. Интервал, который никогда не кончится. Не подлежащий окончательному расчету. Время внутри времени, пространство внутри пространства. Моей мечтой было провести жизнь, не покидая вагона. Принадлежать только тому миру, который несется по рельсам. Пожизненный проездной билет как единственный паспорт, единственный документ, с которым можно на минутку выйти на перрон, заглянуть в залы ожидания небольших станций, названия которых забываются еще до того, как вы их произнесете. Перроны и стрелки, станционные рестораны и камеры хранения, каморка дежурного и вокзальные киоски. Рассказы пассажиров, с которыми некоторое время делишь пространство купе или вагона-ресторана. В дымном купе каждый становится рассказчиком, с глазу на глаз со спутниками, с которыми никогда более не встретится. Каждый немедленно выдумывает собственную биографию, самому себе кажется кем-то другим, пересказывает события, которые с ним никогда не приключались. Если повторять выдуманные происшествия, то они случаются. И тогда остается только взгляд, приглашение и разрешение одновременно, взгляд, который я не сумел понять, наверное, из-за той темноты, которую моя мама определила опытным взглядом работника сцены.

Суть моего вагона – «прямого вагона» для езды по всем желательным направлениям – возникла в пространстве внутренней лестницы, связывавшей первый этаж с подвалом дедова дома, в полумраке, рядом с узким окном у лестницы высотой в два и шириной едва ли в полметра, напоминавшим трещину на фасаде дома. В этом пространстве неопределенного назначения, окружавшем внутреннюю лестницу стеллажами, на которых бабушка держала заготовки на зиму и где были полки с коллекцией найденных дедом предметов, а также с вещами, которые

окончательно вышли из употребления, но все-таки откладываются на неопределенное время, которое никогда не наступает, находилась моя строительная площадка. Это безмянное пространство, одновременно исполнявшее функции лестницы, коридора и кладовки, с окном-трещиной, окном, перегороденным одной вертикальной и семью поперечными рейками, в результате чего оно напоминало часть шахматной доски: окно-ничья. Потому что здесь в начальной позиции фигуры отдыхают от ходов и касаний пальцев. Каждое окошечко узкого лестничного окна изображало одну шахматную клетку в ничьей. Стекла были мутными и серыми из-за пыли. В самом низу этого продолговатого окна, в нижнем ряду, правое угловое окошечко можно было открыть и зафиксировать небольшим металлическим крючком. Летом из-за продуктов, сложенных на стеллажах, окошечко было постоянно открыто – пустой квадрат, который на полной шахматной доске был предназначен для ладьи.

Сквозь это отверстие я целился во внешний мир: в рыбаков, чабанов, овец, скалы на берегу Нишавы, которые в засушливые летние дни увеличивались вплоть до августовских дождей, когда река вздувалась, а огромные камни за ночь исчезали в мутной рыжей воде. Это был признак того, что летние каникулы заканчиваются и одним прекрасным ранним утром мы отправимся на железнодорожную станцию Сичево, а оттуда поездом на другой конец страны, в приморский город, где меня ждет размеренный ритм обычной жизни. В долгие сентябрьские сумерки, сгорбившись над книгами и тетрадями, я вспоминал это окно в дедовом доме в Сичеве и маленький квадрат в самом его низу, сквозь который я сейчас, сидя за письменным столом, смотрел на совсем иные пейзажи: далекие порталные краны верфи, корабли в заливе, цементный завод, который своими формами напоминал гигантскую шахматную ладью.

Моя комната, «прямой вагон» в любой город, какой я придумывал в мгновение ока, передвигалась по красным линиям железных дорог. Я пальцем прослеживал по карте задуманную линию путешествия, а в раме окошечка величиной с пустое поле шахматной доски сменялись пустые окраины безмянных городов, площади с барочными соборами, бескрайные равнины и голубоватые снежные вершины. Виды менялись со скоростью движения поезда. Все полученные часы я проводил в камере собственной комнаты, этом передвижном кинематографе, в котором с годами менялся репертуар, так что экстерьеры в моем подростковом возрасте сменялись интерьерами. Пейзажи стали статичными, поезд как будто стоял на месте, по невнимательности железнодорожников забытый в каком-то тупике. Я шатался в зимних сумерках, обходил пустые перроны, заглядывал в залы ожидания, сквозь затуманенные окна вокзального ресторана рассматривал одиноких посетителей, часами ожидавших отправления. Я воображал себя невидимкой, словно тень следящим за некой только что приехавшей девушкой и теперь с сумкой через плечо спешащей темными улицами к своему дому. Я следовал за ней, касаясь ее шеи, груди, бедер. А проникнув вслед за ней в квартиру, переставал быть невидимым. Ничуть не пугаясь, даже не удивляясь моему появлению, она прижималась своими губами к моим, я чувствовал, как ее язык заполняет мой рот. Возбуждение, которое я переживал, целуя незнакомую девушку, заставляло меня терять сознание, как тогда, когда я впервые, сидя на ступенях дедова дома, положил в рот ложку из «Восточного экспресса».

Мы занимались любовью в кровати, на полу, рядом с этажеркой, которая сотрясалась от наших движений. Я скользил взглядом по корешкам книг, невольно замечая названия. Вдруг все внезапно сделалось известным – имя девушки, город, в котором она живет, окружающие ее люди, ее планы и ее прошлое. Сразу стали знакомыми вещи в квартире, предметы – каждый со своей историей. И тогда я, зажмурившись, впал в транс, когда во мраке с зажмуренными глазами искал какую-то записку, скажем, со списком вещей, которые завтра намеревалась купить моя знакомая, и задавал себе вопрос: нормален ли я? Могут ли мои ровесники, сидя за столом, путешествовать в некоем своем «прямом вагоне» в любом желаемом направлении? И путешествуют ли вообще? Или же, вероятнее всего, не теряют, как я, время, а по плану исполняют свои обязанности. И за это их вознаграждают любовными связями, прогулками с девушками,

походами в кинотеатр, а потом и в парк. И все-таки я чувствовал по какому-то своему тайному расчету, что все это не случайно, что отсутствие результата и есть верный знак того, что я стою на правильном пути. И так, именно то, что я из-за своей невероятной застенчивости все еще оставался без девушки, должно было означать, что жизнь моя в дальнейшем будет изобиловать любовными авантюрами.

Моей маме особенно нравилась книга «Трагедия гения», которую она часто читала перед сном. В ней описывались истории знаменитых людей, которые в молодости были особенно неудачливыми и несчастными. А ведь талант любит маскироваться под бездарность. И как правило, все эти гении, прежде чем доказать свою гениальность, долго добивались противоположных результатов. Скажем, лучшим доказательством гениальности физика служит то, что поначалу он ничего не понимает в ней. И в этом деле есть что-то от техники соблазнения – сначала отсутствие интереса к объекту любви вызывает у него ревнивое чувство, спровоцированное эдаким равнодушием. Решительный момент наступает, когда мы сбрасываем личину притворной незаинтересованности и переходим в атаку. В этом и состоит врожденный талант соблазнителя, который, как и вино, требует выдержки в бочках, в темноте подвалов юношеского нетерпения. В моем случае период кипения затянулся очень надолго. Однажды открытая бочка стала неиссякаемым источником любовной страсти, которая, как я верил, не покинет меня до глубокой старости.

Ее звали Клара. Уже в первом классе гимназии она слыла одной из самых красивых девушек в городе. У нее были кратковременные связи. А потом стала любовницей известного местного художника. Через год она бросила его, и он запил. В одном из кафе выставил пустые полотна.

В молодые годы, Руди, дерзость – единственная действующая валюта. А во мне накопились одиночество и страх. Клары наказывают. Я уехал из маленького города. Только двадцать пять лет спустя, после смерти Юлии, я приехал в город своего взросления. Это было тем летом, когда я уехал в Италию. Незнанный, как граф Монте Кристо, я провел в этой темнице три дня. Я ненавидел этот город, продолжая верить, что в других координатах стал бы кем-то иным.

Я узнавал улицы, углы, фасады. И все-таки, Руди, это был совсем другой город. Тут у меня заболел зуб. В гостиничном телефонном справочнике я нашел адреса стоматологических кабинетов. Через полчаса я уже сидел в зубо врачебном кресле своего товарища по гимназии. Он беспрерывно говорил, как будто отчитывался передо мной за все время моего отсутствия. От него я узнал, что три года назад покончил жизнь самоубийством тот самый художник, что выставлял пустые полотна. Вспомнил и Клару, нашу подругу. В промежутке – а этот промежуток по сути был самой жизнью – Клара жила в Париже.

Маленький город – интервал, пауза, место отдыха. Маленький город существует для того, чтобы из него уезжали. Все происходящее после этого – проверка. Путешествия – неудачная версия того самого нашего внутреннего единственного путешествия, путешествия от окна к креслу, от стола к постели. Как рассказал мой приятель, пять лет назад Клара вернулась в наш город. Опять стала сожительствовать с художником, который ради нее оставил жену и двоих детей. Он повесился в гараже, когда она бросила его. Приятель положил мне в дупло мышьяк и велел через три недели посетить своего дантиста, чтобы тот поставил пломбу. Узнав, что я только что приехал и собираюсь пробыть в городе еще два дня, он предложил посетить вечеринку, которую устраивал наш общий знакомый. Я принял приглашение. Предчувствовал, что там будет Клара.

Когда около девяти часов вечера мы пришли в одну из вилл итальянских времен, с каменной балюстрадой и огромным двором с пальмами, калиной и кустами олеандров, там уже было десятка два гостей. На веранде стоял длинный стол с закусками, разливалось вино. Мне показалось, Руди, будто я попал в разгар съемок какого-то фильма совершенно неподготовленным, не имея ни малейшего представления о своей роли, точнее, кого я должен подменить, попа-

дая в кадр. Знакомых времен молодости я едва узнавал. Мы разговаривали, ели салаты, пили вино. И тогда на тропинке во дворе появилась Клара. Она все еще была красива. Тело, которое наслаждалось, душа, которая не разрывалась от одиночества и страсти, остается красивым в любом возрасте. Это остается, Руди. Как остаются следы одиночества, напрасно потраченной молодости. Когда она проходила мимо нас, мой приятель схватил ее за руку. Да, Клара припомнила меня. Вспомнила места, на которых мы встречались в молодости. Мы говорили так, будто сто лет знаем друг друга. Она жила одна. Работала заведующей хозяйством в местном театре, вела активный образ жизни во все уменьшающейся колонии холостяков, к которой принадлежал и мой приятель-дантист. И вдруг тот факт, что через два дня я продолжу путешествие, что, может быть, никогда больше не приеду в город, где вырос, в город, оставивший рубцы после преодоления агонии взросления, внезапно сделал все легким и пустым. Камень свалился с моей души. Мы пили, Руди, мы много выпили. С каждым глотком мальвазии я все глубже скользил по желобу времени в далекую молодость. Мой приятель удалился. Мы остались вдвоем. Она соблазнительно стояла рядом на террасе, слегка касаясь меня, когда я вспоминал о какой-то детали времен нашей молодости. Она закатывалась от смеха, когда я рассказывал, как однажды трижды направлялся к ее столику, чтобы пригласить на танец и как в самый последний момент отказывался от этого. Почему, почему же ты отказывался, капризно спрашивала она. Сейчас эта женщина была целиком моя. Я чувствовал, Руди, что происходит нечто страшное. Как будто я вошел в храм, от которого остались одни развалины, великолепные остатки былой роскоши. И чем больше она демонстрировала расположение ко мне, расположение, которое становилось открытым призывом наконец-то коснуться ее, тем сильнее вскипало во мне необъяснимое бешенство. Вся моя жизнь предстала передо мной во всем своем ничтожестве. Руди, во мне заговорил врожденный дар соблазнителя. Я вспомнил мать, ее философское убеждение в том, что талант прячется, что он подобен подземной реке. «Все время делаешь что-то не то», – говорила мне мама. Теперь я делал то, что надо было делать всегда. Не испуганно смотреть на речную воду, а отважно плыть. Выйти из засады за деревьями, появиться на террасе мотеля в тот момент, когда этого потребует структура мелодии. А не как собака, Руди, бежать в кусты, поджав хвост. Ложка из «Восточного экспресса»... Такой я видел Клару. И знал, что этой ночью стану членом кружка, который имел Клару. На мгновение я перехватил взгляд приятеля. Он стоял метрах в двадцати от нас и беседовал с девушкой. Рука Клары все дольше задерживалась на моем плече. Она поставила бокал на перила террасы. Я попросил ее кое-что обещать мне. Улыбаясь, Клара кивнула. Да, сказала она, все, что пожелаешь. Я сказал, что хочу прогуляться. И поцеловал ее. Откуда-то из глубины двора, как с палубы удаляющегося парохода, доносились голоса гостей. Была только Клара, которую я целовал. Мы пересекли двор, не попрощавшись с компанией. Держась за руки, зашагали по пустым улицам. Город спал глубоким сном провинции.

Я был кем-то иным, там, глубоко во времени, и делал то, что следовало делать всегда. По этой улице я четыре года ходил в гимназию, говорил я. Признался, как часто прятался возле здания городской тюрьмы, поджидая, когда она появится из-за угла. И после этого следовал за ней до самой гимназии. Во времена Италии эта улица называлась Водопроводной, сказала Клара. Сейчас мы возвращаемся с дискотеки, на которой я с тобой познакомился, сказал я. Клара смеялась. У тюремного здания мы замедлили шаги. Вошли в одноэтажный дом, пройдя через двор, заросший кустами самшита и олеандра. Постепенно освобождаясь от одежды, мы продолжили пить белое вино. Тело Клары все еще было стройным и красивым. Но эти груди до меня целовали столько человек, в то время как я томился в тюрьме запретов и воспитания, в этой самой строгой тюрьме. Нет тюрьмы хуже той, которую мы воздвигаем сами для себя. Передо мной была какая-то другая Клара. Да, Руди. И я был кем-то другим. Я примерял обличия всех своих предшественников, пока не добрался до того перепуганного мальчишки,

который каждое утро прятался в засаде у тюремного здания в ожидании, когда на пригорке появится Клара. Мы занимались любовью и проснулись только под утро.

Что случилось с Klarой? Осталась в тупике, в пространстве двойного дна. На каком-то из тех боковых путей, которые уводят нас от тех мест, где должна проходить наша настоящая жизнь. Где-то на пути в Дебрецен.

«Всю жизнь я делала не то, что хотелось, – говорила моя мама, беря в руки утюг или готовя обед на широком кухонном столе. – Я раб этого дома. Если один раз возьмешь неверное направление, понесет тебя как по реке, и никак это уже не исправить».

Мне было не совсем понятно, чем бы занялась мама, если бы ее освободили от каждодневных обязанностей, и как бы посвятила себя делам, которые ее так привлекали, тем более что она постоянно выдумывала все новые обязательства, чтобы, похоже, максимально отдалить тот момент, когда, оторвавшись от повседневности, сможет посвятить себя тому, к чему стремилась всю жизнь. Из-за неверно избранного направления она и не могла привести в порядок альбомы, не говоря уж о более важных делах. Но только как мы вообще можем узнать, правильное ли направление избрано нами, если не откажемся от него, а если и откажемся, то, судя по опыту моей мамы, уже не сможем изменить ранее избранное направление. Следовательно, определение верного направления в жизни есть лотерея, вопрос везения или какого-то инстинкта. Я помню, сколько лишних километров ежедневно накручивала мама, занимаясь домашними делами. Она страдала болезнью симметрии. Преданность симметрии – первый шаг к рабству, этот порок хуже алкоголизма или игромании. С огромным вниманием она каждое свое движение, все дела по дому согласовывала с правилами и законами симметрии. Скажем, зимой темное белье сушили на радиаторах, и я хорошо помню, как она, развешивая носки на их ребрах, внимательно следила за тем, чтобы нижняя часть была старательно расправлена, чтобы полностью закрыть ребра радиатора, и, конечно, гольфы не должны были располагаться где-то посередине, а исключительно в начале батареи, причем объясняла свои действия крайне разумно. Ребра горячее всего у вентиля, а поскольку гольфы не только толще носков, но и занимают большую поверхность, логично вешать их в самом начале радиатора. И какими бы разумными не были ее объяснения, я прекрасно понимал, что служение симметрии сводится к членству в сомнительной секте. Если я и принимал мамино объяснение в вопросе сушки носков, то все-таки никак не мог понять, почему, раскладывая носки и нижнее белье по радиаторам, нужно непременно учитывать требования спектра, чтобы черное белье всегда соседствовало с синим, далее следовали зеленые тона, и все это завершалось красным цветом.

Простудившись, я избавлялся от соплей, продувая сначала одну ноздрю, а потом другую, потому что если это делать одновременно, можно заболеть синуситом.

Так утверждала мама. Если у меня чесался правый глаз, то ради соблюдения симметрии следовало почесать левый. Я начал верить в симметрию и был готов совершить все те ошибки, из-за которых моя мама всю жизнь шла в неверном направлении. Но когда я окончил среднюю музыкальную школу, расстался с семьей и уехал учиться в Белград, то прильнул к божеству асимметрии, уверовав, что оно сохранит меня от неправильного пути. Так, я стал вытаскивать из-под джемпера только один уголок воротника, что весьма нервировало мою девушку, нежную флейтистку. В холодильник я беспорядочно складывал бутылки и пакеты с молоком и соками, по радиаторам развешивал носки, специально следя за тем, чтобы они сушились не парами и чтобы гольфы занимали именно ту часть батареи, которая, по теории моей мамы, была наименее горячей. Ноты и книги на полках располагались не по размеру и не в алфавитном порядке и даже не по тематике, я складывал их без какого-либо порядка. Все это весьма нервировало мою девушку, и она вскоре оставила меня. Родители переехали в Белград, и я опять стал жить с ними. Я отказался от асимметрии, но не из-за мамы, а потому что понял: мое упорное соблюдение беспорядка со временем превратится в тайный, но практически в такой

же порядок. И не было никакой разницы в том, чтобы стать рабом симметрии или асимметрии. Я хотел быть равнодушным. Как моя равнодушная сестра. Она вышла замуж и осталась жить на море.

«Моя жизнь прошла в мытье посуды, вытирании пыли, в заготовках на зиму, – говорила мама в минуты, когда достигала точки, с которой все выглядело бессмысленным. – Дом это пропасть, потому что все время надо что-то делать, даже присесть некогда, и все время говоришь, хорошо бы отдохнуть немного. Такая жизнь и Богу надоела бы. Дом это тюрьма, и нет оков крепче ежедневных домашних дел. У всех у вас есть какое-то свое увлечение, этот весь мир объехал, знаю, ему не так уж и легко на море, но есть о чем поболтать с коллегами на пароходе и отвлечься, погулять по городам, и только я томлюсь в четырех стенах, постоянно в делах и вроде как не работаю, и никто этого не замечает. Как хочется бросить все и уйти в кафе, почитать газеты и выпить кофе».

Мама так никогда и не осуществила свою угрозу уйти в кафе, чтобы там выпить кофе и почитать газеты. Хотя после обеда и мытья посуды ежедневно следовал привычный ритуал: газеты и кофе. И я никак не понимал разницы в том, делать это дома или в кафе. Но, похоже, человек вынужден жить там, где ему меньше всего хочется жить. Так, например, я половину жизни провел, играя в барах отелей, но все время мечтал о концертных залах, страдал по просторным холлам оперных театров, залитых светом шикарных люстр. Я видел голые плечи дам, жадно отыскивающих меня взглядами, в то время как я в тот момент в гримерке сосредоточивался перед выступлением.

Мама часто вспоминала имена довоенных белградских адвокатов и врачей, которые после войны сразу переехали в Америку. Они продавали стильную мебель, ковры, картины, серебро и фарфор по вполне приемлемым ценам, а иной раз и почти даром. Некоторые из этих имен до сих пор сохранились в моей памяти. Они жили в моей памяти, сохранив свой образ жизни. Летом по дороге в Сичево, оставаясь на день-другой в Белграде, мы бродили по этому городу как по контурной карте. Мама часто останавливалась, указывая на тот или иной дом. – Там, на втором этаже, жил адвокат Джорджевич. У него я купила лампу, что теперь стоит у твоей кровати, и застекленный книжный шкаф.

Миновав две улицы, она опять останавливалась и устремляла взгляд на фасад угловой пятиэтажки, выстроенной каким-то сербским торговцем.

– В этом доме жила моя подруга Марина Скарловник. Перед отъездом в Америку она подарила мне Колесникова. Сейчас она живет в Санта-Монике.

Колесников? Бежавший в Белград после Октябрьской революции, какое-то время он пользовался успехом у белградских мещан. Его картина, один из многих сотен зимних пейзажей, висела в столовой над комодом: голубая гора растворяется в снегу того же цвета. Когда во время приема гостей мне приходилось уступать свою комнату и перебираться на диван в столовой, первое, что я видел, открыв утром глаза, была именно эта заснеженная гора. Спросонья я тер глаза, и калейдоскоп под ресницами переливался красками пейзажа Колесникова. Темные пятна у подножия горы принимали необычные формы. Иногда на мгновение-другое появлялся абрис женского лица с белыми щеками и крупными глазами, но стоило только приблизиться к картине, как он исчезал в зимнем пейзаже.

Вещи и предметы в нашей квартире были всего лишь образцами, взятыми из других жилищ. Я был убежден, что эти пришельцы так и не забыли пространства, из которых явились к нам. Ясными ночами они призрачно светились и в пределах нашей квартиры как бы возвращали взгляды, десятилетиями копившиеся в этих стенах. Погружаясь в сон, я часто слышал шепот незнакомых голосов, звуки шагов, скрип перьев по шершавой бумаге. Где-то неподалеку некто вслушивался в мое дыхание, записывал движения, вводил меня в представление, конец которого я никогда не узнаю, потому что в действительности никакого конца нет. Картина мира

постоянно вздрагивает, исчезают внутренние дворы и лестницы, уличная реклама и скамейки в парке, фасады и кроны, целые города и окрестности, а на них накладываются новые слои. Каждая фотография, каждое произнесенное слово, каждый тон или шум безвозвратно меняют облик мира. Изменение – единственная константа. Взгляд сокола ищет добычу – точку, которая движется и меняет пейзаж.

В ящике ждет письмо. Пятью метрами выше, в трех метрах правее в укрытии квартиры дремлет ничего не подозревающий получатель. От новой траектории его отделяют несколько часов тонкого послеобеденного сна в бамбуковом кресле. И изменится не только его мир. Движение, судя по содержанию этого письма, изменит инвентарь сцены, перенаправит траектории развития других действующих лиц. Изменит движение вещей в чемоданах, сэндвичей в сумках, содержание в записках. И появится как незванный гость, изменяя мантры повседневности.

Однажды ночью в нашем доме появится далекий родственник моей мамы, который жил в Суботице. Он направлялся в Триест. Перед этим провел несколько дней в Будапеште. Я получил от него в подарок кожаный футляр для карандашей, внутри которого, на дне, была наклейка: KEZMUVES. Футляр был из желтой кожи, с узором на крышке, обшитый темной кожаной полоской – ручная работа мастера, который в своей мастерской неизвестно в каком районе Будапешта ежедневно делал десятки футляров и других изделий из кожи. И без наклейки KEZMUVES, что по-венгерски означает РУЧНАЯ РАБОТА, было понятно, что это стоящий предмет. Крышка изнутри была обтянута темной кожей того же цвета, что и декоративная полоска, обрамлявшая нижнюю часть футляра. В футляре помещались три карандаша. Центральная перегородка, чуть шире прочих двух, предназначалась, вероятно, для авторучки. Однако гораздо более этого ценного предмета меня заинтересовал неизвестный мастер, который в своей мастерской в Будапеште создавал уникальные предметы. Я представлял, как он выглядит, его привычки, мысленно прокручивал несколько знакомых мне венгерских имен, никогда не отличая имена от фамилий. Я пытался представить себе десятки других обладателей подобных предметов, рассыпанных по миру. Мы составляли тайное братство, касались кожаного футляра, на поверхности которого оставались невидимые следы того, кто этот предмет сделал. И каждый из этих предметов был отличен от прочих. Потому что мастер в Будапеште изготавливал их, будучи в разном настроении, разные мысли бродили в его голове, когда он кроил и сшивал кусочки кожи. Я чувствовал, что весь мир покрыт бесконечным количеством контурных карт и что Бог, если он есть, днями напролет вносит условные знаки в их белые пятна. И что учет проделанной работы есть единственное занятие Бога. Поэтому сначала было много богов, так как предстояло переписать множество вещей. Хотя людей было намного меньше, чем сейчас. Со временем боги натренировались, и их количество уменьшилось. Каждый человек – контурная карта, на которой годами предметы, люди и события оставляют следы своего присутствия. Утраченные предметы связывают множество людей, как, например, та ложка из «Восточного экспресса». И хотя эти люди никогда не встретятся и не поймут, что их связывает, и даже если бы они встретились, то трудно вообразить, что они смогут обнаружить точки соприкосновений с этими предметами. Но я все равно чувствовал, что невидимая система кровообращения мира, в которую включены и живые, и мертвые, их общий мир обитания есть образец вечности и в ней ничего и никогда не сможет исчезнуть. Вечность – необозримый архив, в котором фиксируются не только исторические события, но и судьбы безымянных домохозяек, которые готовят, стирают, сметают пыль с вещей и предметов, моют полы, гладят белье; в этом архиве копятся картины голландских мастеров и окаменевшие животные и растения, симфонии классиков и песни уличных музыкантов, государственные гимны и любовные письма, планы городов, чьи улицы уничтожены бомбардировками, и затхлый воздух пирамид.

Мои родители познакомились во время профсоюзной экскурсии на Фрушку-Гору. Отец решил поехать туда в последний момент. Он прибыл на автовокзал за минуту до отправления автобуса. Подруга моей мамы проспала, так что свободное место в автобусе занял тот, кто год спустя станет отцом. Так что мое появление на свет стало результатом того, что мама и подруга в то судьбоносное утро проспала. Она снимала комнату у той женщины, темная квартира которой располагалась над баром «Лотос», там, где постоянно менялось освещение. И похоже, только из-за полумрака сон маминой подруги так затянулся.

Адрес проживания создает картины и события.

Крутая улица приморского города, в котором я случайно появился, поскольку отец согласился на решение кадровой службы Морского центра перевести его именно туда, годами казалась мне светлой трещиной, по которой я ходил, ежедневно совершая экскурсии в далекие уголки, которые ограничивали существующий мир. Добравшись до здания Городской библиотеки и Археологического музея, этих Геркулесовых столбов знакомого мне мира, за которыми начиналась бурлящая пучина города – грозовой предел океана, я тем же путем возвращался назад, предаваясь какому-то близкому будущему, зашифрованному в окружающих пейзажах.

Куда уходят вещи после смерти владельца? Этот вопрос я задал маме, когда она читала мне перед сном сказки. Их наследуют дети, так она мне ответила.

В моей заинтересованности судьбой вещей и предметов мама усмотрела удел божьего провидения. Меня никогда не занимало развитие сюжета произведения, я с большим удовольствием заглядывал в кусты, не следил за ходом повествования, интересуясь судьбой какого-нибудь второстепенного героя. Меня привлекали загадочность, белые пятна, в которых исчезают буквы, эпизодические герои, появляющиеся на сцене только для того, чтобы доставить какое-то письмо или вывести лошадь из конюшни.

Достаточно было диктору из «Программы для моряков» упомянуть, что пароход отца сейчас в Роттердаме, чтобы название этого города вызвало в моей памяти вереницу статичных интерьеров на картинах голландских мастеров, репродукции которых я рассматривал в «Энциклопедии голландской живописи XVI и XVII веков». Эту книгу маме подарил адвокат Джорджевич накануне отъезда в Америку. Каждому купившему картину из его коллекции он дарил книгу. Его великодушный жест в первую очередь был вызван тем, что в то время невозможно было найти человека, который купил бы всю библиотеку. Так в нашей квартире вместе с Колесниковым поселились голландцы.

Женщина с облитым светом лицом, читающая у окна письмо, заархивированная в моей памяти, вводила меня на несколько секунд в действительность, которую я узнавал и в собственной обыденной жизни. Посуда на кухонной полке сложена по законам той самой геометрии, которую уважала мама. И она такая чистая, что на ее поверхности видны тени других предметов. Все сверкает, нигде не пылинки, все дышит порядком и тишиной. Это райское пространство частично отражается в овальном зеркале, висящем на стене. Рядом с зеркалом – портрет какого-то серьезного господина с ухоженной бородой и маленькими искрящимися глазами. Его правая рука покоится на голове гончей. Собачьи глаза тоже маленькие и искрящиеся. Серьезность изображения смягчают маленькие пальцы, словно рука, опущенная на голову собаки, принадлежит ребенку. Возможно, этот мужчина – предок женщины, стоящей у окна и читающей письмо, вероятно, он был купцом или судовладельцем, привозившим товары и рабов из далеких колоний, обеспечивших его богатство. Потому что расстояния несравнимо больше, чем между Сичево и Острвацом. И благодаря этому женщина, читающая письмо, унаследовала множество фарфоровых сервизов, хрусталя, золотых и серебряных приборов. А я лишился даже ложки из «Восточного экспресса», она пропала после смерти бабушки. Бабушка переехала в дом престарелых. В бывшем дедовом доме поселился новый диспетчер станции Сичево. Исчезла и коллекция предметов со стеллажа у лестницы. И только свежий воздух все

еще струился в маленькое окошечко внизу продолговатого окна, которое в России называют форточкой.

* * *

Бегство в книги было даже интереснее рассматривания картин голландских мастеров. Помню, как после прочтения «Мальчишек с улицы Пал» я несколько месяцев жил в одном из кварталов Будапешта. Ференц Молнар, который придумал все это или просто пересказал события своего детства, по сей день у меня на слуху, сведенный к двум словам в отделе моего архива, посвященного округу Ференцварош: парк Фувеш, улица Пал, площадь Кальвари. Но это имя, эту мелодию мамин родственник из Суботицы напевал иначе: Молнар Ференц. Бархат гласного звука смягчает резкость согласного, и только «ц» в конце слова остается незащищенным драпировкой вокала.

Или Карл Май, Архитектор просторов. Мелкий аферист, учитель по образованию, провел семь лет в тюрьме за кражи и мошенничество. А знаешь ли ты, Руди, что Карл Май до пяти лет был слепым? И когда он каким-то чудом прозрел, мир уже отпечатался в его сознании. Что это был за отпечаток, Руди? И какой это шок – внезапно оказаться в мире, которому мы обязаны зрением? Карл Май ни разу не покидал Германию. Но география других континентов, которую он создавал в Радебойле под Дрезденом, по сей день сопротивляется официальной версии. Он выдумывал слова несуществующих языков, имена индейских воинов, рек, озер и гор. Оживил контурные карты Америки. Опускался по цепи Кордильер вплоть до Огненной Земли, бродил по Сахаре в поисках тайны пирамид, добрался и до берегов Малой Азии. Создавал пространства в окружении стен своего дома. Повлиял на взгляды миллионов читателей. Он не любил путешествия, но все время описывал их. Он знал только родную Саксонию, а описал весь мир. Пять лет слепоты и семь лет тюрьмы, итого двенадцать лет путешествий.

Прямой вагон в Дрезден – вагон, маневрируя, меняет направление движения, движется по сети стрелок и параллельных путей и в соответствии с расписанием подключается к голове или к хвосту составов. Голос диктора в дышащих на ладан репродукторах белградского железнодорожного вокзала оповещает пассажиров о прямом вагоне на Дрезден в составе поезда Белград – Прага. А в это время я уже читаю романы волшебника из Дрездена, разбросавшего своих героев по всему миру. Добрались они и до балканских ущелий.

Мы ехали на юг, следуя направлению «Восточного экспресса», через зеленые пейзажи Шумадии, долиной Моравы, вплоть до гор, у подножия которых начиналось Сичевское ущелье. Там, в дедовом доме, узкое окно с маленьким отверстием в самом низу ждало меня с моим видом.

Однажды весной мы провели семь дней на Плитвицких озерах. Чистые воды Национального парка Плитвице скрывали тайну клада. За несколько дней до этого в районе Плитвиц снимали фильм по роману Карла Мая – «Сокровище Серебряного озера». Хозяйка пансиона показала нам комнату, в которой во время съемок жил Виннету. Мы разместились в номере Олд Шаттерхенда. В том же пансионе останавливались воины апачей, а через дорогу, в довольно-таки запущенной государственной гостинице, жили команчи. На стене у регистрационной стойки висели в рамках фотографии Виннету и Олд Шаттерхенда. Я хотел забыть имена улыбающихся с фотографий актеров, их автографы с благодарностью хозяйке пансиона госпоже Восе, потому что сам факт, что Виннету на самом деле Пьер Брис, а Олд Шаттерхенд всего лишь Леке Баркер, не давал возможности вообразить, что я там, а вовсе не здесь, и что это не Плитвице, а Серебряное озеро, и что вокруг нас простираются пейзажи Дикого Запада.

Каждое утро госпожа Боса гадала маме на кофейной гуще. Подсохший на дне осадок образовывал иероглифы, которыми была записана и моя судьба. В соответствии с ее предска-

заниями мне следовало пересечь большую воду, чтобы там, в далеком мире, стать богатым и знаменитым. Время, остававшееся до этого окончательного ухода, следовало чем-то заполнить, закрыть белые пятна повседневности картинами из сокровищницы будущего времени. И несмотря на то, что из предсказанного маме не случилось практически ничего, она постоянно твердила, насколько точно предсказала ей будущее пророчица Боса с Плитвицких озер, сумевшая предугадать все важные события ее жизни. И когда в последние годы жизни мама погрузилась в пучину болезни, опустошившей память, освободив ее от всех записей, имя хозяйки пансиона – Босилька Ракита – стало для нее чем-то вроде скалы в океане забвения. И не только имя, но и события, которые Боса предрекла, но которые так и не случились, поврежденная память записала как произошедшие на самом деле. Живые оказались мертвыми, а давно скончавшиеся бродили по лабиринтам маминого сознания, вновь погрузившись в ликвор жизни, теперь уже с новыми биографиями. В ее мире не существовало препятствий, расстояния преодолевались так, словно их и не было, боль по утраченным людям гасилась их оживлением. Все было на одном месте, пережитое депонировалось в реквизитах, которые всегда были под рукой. Прямой вагон до Дрездена функционировал безостановочно.

Я пытался расшифровать происхождение особы, так близкой моей маме, которая вдруг появлялась в образе собеседницы в утреннем разговоре, с тем чтобы через несколько часов исчезнуть так, будто ее никогда и не было. Случалось, это была какая-нибудь ее многолетняя приятельница, а именно героиня телевизионного сериала или литературный образ из книг сестер Бронте. Отца она почти не вспоминала, зато адвокат Джорджевич получил важную роль в ее жизни. И был он уже не адвокатом, а торговцем чая из Фленсбурга. Она никогда не бывала во Фленсбурге, где располагался офис морской компании, от которой отец некоторое время плавал, но описывала мне этот город настолько точно, будто провела в нем годы. Она сидела в кресле, и если хотела вспомнить какой-нибудь важный момент из своей жизни, то зажмуривалась и немного откидывала голову. А когда открывала глаза, иной раз спрашивала меня, кто я такой. Я был свидетелем распада ее памяти. Казалось, будто я листаю книгу, в которой не хватает многих страниц, книгу, в которой все перепутано, и только изредка натыкаюсь на знакомый текст. Наши разговоры напоминали допросы у следователя.

Знаешь, Руди, забота о фактах со временем становится тяжким грузом, потому что все больше ритуалов, все больше воспоминаний, все больше людей и все меньше пространства между потолком и подвалом. Невысказанные намерения обязывают, замедляют движение. Остается только проходить мимо. Как только мы выбрали дорогу, то уже промахнулись, и поэтому, возможно, лучше никуда не идти, ждать, хотя, даже остановившись, мы минуем все, чего могли бы коснуться в движении.

Случалось, что я по утрам заставал маму у окна. Заметив меня, она только вздыхала и говорила, что не знает, стоит ли выйти на террасу или лучше сначала сварить кофе. На столе в гостинной аккуратно, по датам, складывала ежедневные газеты. Постоянно повторяла, что чтение газет – напрасная трата времени, однако раз в неделю проводила несколько часов, перелистывая груды газет. Всю жизнь она была скована ритуалами и обязательствами, которые поджидали ее на каждом шагу.

Она вечно опаздывала, и я не помню, чтобы она хоть раз пришла куда-нибудь вовремя. В фильмах и театральных спектаклях в ее памяти вечно недоставало начала. Даже дома ей не удавалось посмотреть по телевизору фильм с самого начала, потому что в последний момент вспоминала, что забыла полить цветы. Сразу же поднималась с кресла, уходила за пластмассовым ведерком и поливала из него горшки. Потом вдруг вспоминала, что накануне вечером в ванной перегорела лампочка. Никогда не считалась с тем, что в доме есть запасная лампочка в шестьдесят свечей. Обувалась и отправлялась в магазин, возвращаясь с полной сумкой лампочек. Однажды в какой-то лавке наткнулась на маленькие импортные лампочки для холодильников марки «Игнис». Сразу же купила про запас две штуки по исключительно высокой цене,

оправдывая свой поступок тем, что дефицитные вещи следует покупать не по мере надобности, а про запас.

– Кто знает, когда еще появятся в магазинах лампочки для холодильников «Игнис», а наша уже почти перегорела. Ты заметил, как она моргает?

Несмотря на то, что до конца ее жизни в холодильнике горела все та же оригинальная лампочка, мама заботливо перекладывала в кладовке две маленькие коробочки для «Игниса», не скрывая удовлетворения от того, что в любой момент готова воспользоваться ими, постоянно приговаривая:

– Похоже, в этом доме я одна забочусь обо всем!

Выход на улицу означал многочасовую подготовку. А когда наконец выходила, то долго стояла перед домом, размышляя, какой дорогой следует пойти. Отправлялась на условленную встречу с подругой, а возвращалась из кинотеатра, пересказывая фильм, в котором, естественно, не было начала. Уходила на кладбище к отцу, а через полчаса, запыхавшись, появлялась в квартире со штукой ткани, из которой собиралась сшить чехлы для кресел. После ее смерти я нашел в шкафах материю для платьев, хрустальные бокалы, сервизы, нераспечатанные коробки со столовыми приборами. У нее была привычка выгодно покупать ценные вещи, которые можно было дарить в дни рождения, на свадьбы или новоселья.

У нее уже не было памяти, только белые пятна, испещренные мутными пейзажами, в которых вдруг появлялся какой-нибудь образ. Произнося какое-нибудь имя, она подолгу смотрела на меня, словно только по моей реакции можно было определить значение этого человека, словно я был сторожем на складе, где хранятся люди из ее прошлого. Каждое утро мама наивно распределяла материал, заново создавая мир, опустошенный во время сна, как театр по окончании представления. Узнавая меня, она была счастлива тем, что у нее есть сын.

Предметы, в отличие от людей, она помнила прекрасно, но только не их происхождение. Лампа на ножке из розового фарфора, стоявшая на тумбочке возле моей постели, купленная сразу после войны у кого-то из покидавших страну, в одном из рассказов приобретала совсем иное происхождение. Лампу ей подарил адвокат Джорджевич, когда она впервые посетила его во Фленсбурге. А когда я заметил, что это была не лампа, а зимний пейзаж Колесникова, и что картину адвокат Джорджевич не подарил, а продал ей, и было это не во Фленсбурге, а в Белграде, она спокойно отозвалась:

– Нет, это не Колесников. Он умер еще до войны. Я с ним не была знакома, как же он мог мне что-то подарить? И почему именно лампу? Не хорошо, когда смешивается разный свет. У меня была знакомая женщина, которая жила в темной квартире над баром «Лотос». У нее даже днем горел свет. В итоге она почти ослепла. Но даже полуслепой она содержала квартиру в идеальном порядке. Как это, где это было? Во Фленсбурге, сразу после войны.

– Бельевая корзина? Да, помню. Изнутри она была обтянута синим полотном. Где сейчас эта корзина? Боже, куда только разбежались наши вещи! Вот и еще один день прошел. И что я сделала – ничего! Где я побывала – нигде! Вот так глупо и проходит вся жизнь.

Осадки картин жизни давят. Изо дня в день пережитое становится все тяжелее. Спасение в забвении. В мире намного больше людей, чем судеб, говорила мама. Судьбы как ящики стола, в один могут поместиться тысячи людей. За несколько дней до смерти она схватила меня за руку и спросила шепотом, не знаю ли я, откуда у меня такое имя – Даниэль.

– Один мой парень жил в таком беспорядке, что я его бросила из-за этого. Его звали Даниэль. Он очень любил меня. А вот в ванной у него в тюбике вечно была засохшая зубная паста. Или он нерегулярно чистил зубы, или покупал пасту в лавках на окраине, где товары подолгу никто не берет. Но зачем ехать на окраину, чтобы купить зубную пасту?

У меня тоже скоро появятся на одном месте и живые, и мертвые. Не будет ничего ни далекого, ни близкого. От далекого до близкого всего один шаг. Вагон на двух колесах. Все

на расстоянии вытянутой руки, Руди. Освободиться от груза намерений и без паники отдаться расписанию движения. Если организовать как следует, все будет путем.

Поезда

Жить незаметно

Он был единственным посетителем на террасе кафе под стеклянным сводом главного железнодорожного вокзала Гамбурга. Он сидел в пальто рядом с оградой, заказав этим утром уже третий капучино. Он много месяцев проработал в холодном помещении, так что приобрел привычку зимой выбирать самые теплые места.

Внизу, на широких перронах, в ресторанах и кафе, в подземных переходах и торговых помещениях гуляли самые разные истории. Лабиринт вздрагивал. Взгляды и касания. Долгие поцелуи перед отправлением поездов. Груды вздымаются, железы пульсируют, и куда бы ни ехали люди, они направляются к последнему адресу. Он знал это, он, сейчас оказавшийся на пороге четвертого десятка, человек по имени Руди Ступар. Имя, полученное благодаря давней, тайной любви его матери, еще девушкой влюбившейся в квартиранта, молодого офицера, которого однажды перевели далеко, на север страны.

Четыре месяца в холодном пространстве. Своих собеседников он, как прежде, в Белграде, не записывал на диктофон. Их истории тут же тонули в глубинах его слуха, потому что они поступали не извне, не голосом другого человека, но исходили от него самого. Слова таяли как медузы, оставшиеся на скале во время отлива, где в жаре солнечного утра превращались в эмульсию взгляда, в пигменты и перхоть. Все могло погибнуть еще до спасительной волны прилива, повторяющей цикл следующим днем. Ничто не исчезает до конца. Каждая клетка сохраняет память. И потому еще сохраняется понимание того, что уже половина седьмого, что в жестянке уже нет кофе, что надо заменить перегоревшую лампочку в прихожей, что все карандаши в стакане тупые, проявить пленку, отснятую на экскурсии в Люнебург, и обязательно зайти в книжный магазин.

Неоновые огни магазинов и кафе призрачно мерцают в сером воздухе холодного мартовского утра. Напротив стола, за которым сидит Руди, открываются и закрываются двери лифта, и каждому действию предшествует мягкий звонок. Огромная кабина лифта, подталкиваемая сильным механизмом, курсирует вверх-вниз в стеклянной башне. До отправления поезда еще целый час. Он убивает время, выбирая из множества одну личность, и следит за ней взглядом, пока она не исчезнет на перроне или в дверях вагона. Когда это происходит, на том же месте он выбирает нового, только что приехавшего пассажира, который с чемоданом неспешно двигается к одному из выходов. Там появляется новая особа, и он следит, как та пробивается сквозь толпу в направлении кассового зала. Руди со своего места, подобно режиссеру, наблюдает за передвижением статистов

в спектакле, который сегодня утром разыгрывается на железнодорожном вокзале.

Только на первый взгляд кажется, что каждый идет по точно определенному маршруту. Но Руди, внимательно наблюдая за избранным человеком, замечает, что в его поле зрения первоначальные намерения постоянно корректируются. Их невозможно точно знать, но можно предположить, что появление на вокзале не связано с желанием посетить цветочный киоск или лавку, перед которой он в данный момент останавливается, или же собирается пересчитать мелочь – именно этим сейчас занята женщина, которую он проследил до автомата по продаже безалкогольных напитков. Все эти незнакомые люди с момента пробуждения попадают в лабиринт предстоящего дня. Ориентация на небольшом пространстве утешает тем, что здесь нельзя заблудиться. Время от времени коснуться ладонью лестничных перил, окинуть взглядом расположенные в шахматном порядке на стене парадной почтовые ящики – и констатировать, что сосед с первого этажа долгое время не вынимает почту, потому что края конвертов

выглядывают из его ящика как оперение стрел из колчана. Сравнение обязано вестерну, который он смотрел по телевизору минувшей ночью. Далее продолжить движение по улице, как будто просто так, в окружении знакомых вещей и предметов.

Жить незаметно, как перемещаются стрелки на часах. Витрины книжных магазинов с блокнотами, записными книжками, роскошными тетрадами, представлена вся канцелярская индустрия. Каждый вечер заносить в ежедневник план передвижений на следующий день. Между утренним визитом к дантисту и вечерним посещением кинотеатра лежит вечность повседневности. В неприятной тишине приемной зубного врача или перед кассой кинотеатра разрастаются остатки бесконечности, и потому в очереди пестрые шнурки вперёдстоящей особы фиксируются с той же интенсивностью, что и задумчивое лицо молодой женщины, обеспокоенной жужжанием бормашины и резкими звуками, доносящимися из кабинета. Но пока еще утро, и пока еще не сняты леса, окружающие день, который будет точно таким же, как и предыдущий, отличаясь от него только количеством времени. В суете муравейника, в ожидании событий меняется рельеф повседневности.

В это мгновение вокзальные часы показывают точно без четверти восемь. Из лифта появляются три молодых человека и после короткого раздумья усаживаются за один из столов на террасе. Руди как будто дожидался этого, чтобы попросить у официанта счет. Потом берет вещи и входит в лифт. Судя по багажу, можно сделать вывод, что человек едет недалеко, а если и далеко, то всего на день-другой. Кожаный ранец и сумка из провощенного полотна, реквизиты для кратковременной поездки. Однако в его кармане лежит ключ с выгравированным номером 3237, которым он через полчаса откроет один из сотен металлических шкафчиков вокзальной камеры хранения. Придя сегодня утром на вокзал, он оставил там большой чемодан, чтобы как можно комфортнее провести два часа перед длительным путешествием.

Опустившись на лифте к платформе, он направился к газетному киоску, который фактически был книжным магазином. В такие места по причудливым путям сложной сети распространения попадают книги самого разного жанра. Полгода назад на вокзале Ганновера он купил книгу о дверях. В той антологии были сотни фотографий самых различных дверей: от имперских врат римских вилл до грубых тесаных досок русских дач, от массивных ворот викторианских домов Лондона и Дублина до резных дверей Каира и Александрии, а также различных ренессансных типов, в которых его особенно привлекли «двери для мертвых» в Губийя, входы вроде низких окон, возвышающихся над землей всего на метр. Катафалк останавливался перед ними, и гроб кратчайшим путем перегружался в транспортное средство, которое доставляло покойника по последнему адресу.

Он подошел к прилавку, на котором лежали газеты из Юго-Восточной Европы. Когда он прошлым летом переехал из Мюнхена в Гамбург, то всего лишь в нескольких местах нашел газеты своей страны. Теперь практически в каждом киоске можно увидеть заголовки белградских газет. Купил два еженедельника. Теперь перед ним лежала другая дорога. Он решил ехать поездом, потому что хотел проделать тот же путь, которым четыре года назад покинул свою страну.

Он расплатился и направился к полкам с книгами. Остановился у стеклянной вращающейся полки. Потихоньку стал поворачивать ее, скользя взглядом по корешкам карманных изданий. Патетические названия не обещали ничего хорошего. Он наугад вынимал книги с полки, открывал их и возвращал на место. Усмехнулся, прочитав первые строки бестселлера знаменитого американского писателя: «Приближаюсь к морю. Знает ли оно, как я люблю его?» Добравшись до самого низа витрины, он присел на корточки, опершись спиной о край полки. И тогда в последнем ряду нашел книгу о феномене кислотных дождей. Интересно, как эта специальная книга попала в вокзальный киоск? По неосмотрительности заказчика или же по ошибке? Потом натолкнулся на индийские сказки. А когда собрался было встать и поискать на

полках чтение в дорогу, остановился на зеленом корешке тонкой книжки с белыми буквами: Штефан Гуреcki, «Невидимый мир».

Он снял книгу с полки. На обложке фотография: силуэт человека на трамвайных рельсах, в перспективе исчезающих в темноте ночи за ближайшим углом. Фасады напомнили Руди белградскую улицу, по которой он часто ночами возвращался домой. Прочитал короткую аннотацию: Штефан Гуреcki, родился в Кракове в середине прошлого века, поэт и романист, автор книги «Геометрия потолка» о Бруно Шульце.

Открыв книгу, остановился на первой фразе: «Он страдал от сильного перенапряжения нервов, которое за несколько лет оккупировало его ум». И сразу решил купить книгу. Он больше не испытывал дискомфорта от предстоящего долгого путешествия, на этот раз инстинкт его не подвел – он нашел подходящее чтение, которое развлечет в дороге. Отложить удовольствие до Ганновера, как можно позже начать читать. До Будапешта ехать целый день. Выйдя из книжного магазина, Руди еще раз наугад открыл зеленую книжицу, и в самом низу страницы прочитал: «...жил в Европе между войнами, в Европе без границ, в мире, который был всего лишь перерывом между двумя актами представления. Он жил в структуре цирковых династий, в мире фирмы “Юлиус Майнл”, эмблема которой – голова негра в красной шапке – сопровождала его в поездке».

Он убрал книгу в сумку и направился к камере хранения. Почувствовал, как по телу растекается удовольствие, вызванное подвижкой слоев памяти. Дышал глубоко, и от прилива воздуха задрожали ноздри; весь в ожидании, как это бывало когда-то, накануне спектакля в провинциальном театре. Гаснет свет, стихает шум, а в центре сцены появляется щель, которая быстро разрастается с бесшумным движением занавеса, щель, которая проглатывает мальчика Руди. И уже в следующее мгновение он окажется в незнакомой комнате, в окружении массивной мебели, или на ренессансной площади, под балконом, на котором стоит девушка.

Добравшись до камеры хранения, Руди направился по узкому проходу между металлическими шкафчиками, разглядывая номера над замками. Некоторые из них были открыты. Невольно заглядывал в темную внутренность камер, словно желая убедиться, что там ничего нет. И каждый раз вспоминал широкие металлические ящики в фирме «Парадизо». Остановился около своего шкафчика. Как только повернет ключ, красный квадрат над замком сместится зеленым. На некоторое мгновение это все еще его шкафчик, в утробе которого прячется большой чемодан, но через минуту или две Руди оставит после себя пустую камеру, и плотка скоро примет новый кусок. Вытащил чемодан и направился на перрон. На свободном пространстве перед длинной витриной кафетерия увидел высокую брюнетку, которая нервно оглядывалась, словно ожидая кого-то. Подумал, что молодой женщине неприятно, что ее никто не ожидает, и потому она оглядывается, наводя наблюдателей на ложный след. На ходу они обменялись взглядами. Руди показалось, что губы незнакомки растянулись, изображая улыбку, но он уже был далеко от нее и обернулся только шагов через двадцать. Поздно. Она исчезла в толпе, спускающейся на эскалаторе, ведущем в метро.

Алиса

Четыре месяца в холодном пространстве. Собственники законченных историй в боксах холодильников, книги поступлений, рубрики с заключением патологов, время и место доставки. И рука Алисы, повернувшая верньер термостата. Почему у тебя так холодно? Она заметила, что у него мягкие ладони. Их касание успокаивает. Это руки художника? А может, терапевта? Он улыбнулся и сказал, что не хочет прерывать соглашение, достигнутое в ходе второй встречи на Репербане. Ты продолжай создавать новые узоры для галстуков и платков, ищи на Репербане новые образцы. Я буду рисовать, сказал Руди.

Это была игра, которой оба наслаждались, совершенствуя общение без вопросов и ответов. Оказываясь в квартире Руди, они вместе с одеждой сбрасывали сетчатую пелену обыденности, оставаясь телом к телу. Они тонули друг в друге, освободившись от построения отношений, что всегда подразумевает наличие позиций, а их постоянно приходится корректировать; рано или поздно интенсивность отношений слабеет. Оба они поддерживали связь, договариваясь о встречах за день. На час или два, иногда на всю ночь. Но это тоже были отношения. Последние две недели Руди казалось, будто они живут в разных концах замка, так что если они не виделись несколько дней, он все равно чувствовал присутствие другого человека, и это было приятно. Достаточно было Алисе уехать на несколько дней, то есть покинуть этот воображаемый замок, как Руди начинал испытывать чувство одиночества. А от этого оставался всего лишь шаг к мысли о том, продолжает ли Алиса поддерживать его манеру игры в этом представлении.

И тогда Руди думал, что каждая мысль, зафиксированная в рассказе, заключенная в фотографическую рамку, напоминает географическую карту, на которой линии заливов, равнин и возвышенностей отражают естественный облик рельефа и создают иллюзию некой полноты видения, которая на самом деле необозрима, следовательно, и не существует. Как на карте не обозначаются скалы и затоны, мелководья и подводные скалы, а в линиях гор не отражены глубокие пещеры и пни, оставшиеся от столетних дубов, так и в пересказанной жизни, скорее всего, отсутствуют важные детали, которые придавали ей смысл, наполняли ее стремлениями и ожиданиями.

Он стоял у окна. Всего в двадцати метрах на уровне его квартиры на третьем этаже проходила эстакада. Поезда по ней мчались днем и ночью. На стене комнаты, как на экране, отражался свет вагонных окон. Иногда ночью, внезапно проснувшись, Руди рассматривал белые огни, прислушивался к потрескиванию в глубине квартиры. Вся картина подрагивала, как снятая на киноплёнку. Во время этих грохочущих секунд ему хотелось, чтобы комната вместе с ним превратилась в кадр этого исчезающего фильма, потому что на крутом повороте эстакады исчезали и красные позиционные огни последнего вагона. И опять наступала тишина. Он оставался брошенным на одиноком целлулоидном кадре, отрезанном от бобины, которая все дальше уносила большое событие. Совсем как в далеком детстве, на пыльной улице местечка, в котором он родился и о котором Алиса не знала ничего. Она, родившаяся в огромном порту, не могла представить пустынную дорогу, не улицу, плоскость асфальта, которая бессмысленно простирается по равнинному местечку, по этому бесконечному морскому дну. Даже название городка, в котором он родился, не в состоянии показать свой цвет, который даже вовсе и не цвет, а нечто среднее между блеском белизны и полной тьмой. Серость и дым. И когда перед тем, как ему пойти в гимназию, они переехали в ближайший город, Руди показалось, что они переселились на другую планету, и не только из-за театра и зданий, которые своей высотой формировали улицы, а из-за отсутствия надоевшей дороги, из-за незнакомых, но таких заметных интерьеров, черты которых на ходу схватывал его глаз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.